

Кто ушёл из этой банды первым?
И. Лагутенко

ГЛАВА 1

*Нас выстрел уложит рядом
На красном прозрачном льду.
Москва ничему не верит,
Москва никому не простит.
Белоснежный, уже ненужный китель
На грязной стене висит.*

*Вдохновение, юбки веером вверх,
Сожаление о том, что не встало,
Без сомнения, это было и это будет.
И ты опять предашь меня.
И хоть на секунду, но всё же забудешь.*

Д. Арбенина

– Зарубин! Зарубииин!

Голос посыльного красноармейца метался от забора к забору, топал пыльным ботинком по высохшей глине деревенских закоулков, забивался в дыры между чёрных досок, замирал и оживал снова...

– Заруууубин!!!

...Солнечный свет, оранжевый и тяжёлый, лежал на верхушках осенних жалобных деревьев, давил на усталые веки Зарубина, мельтешил сквозь ресницы и ласково щекотал ноздри...

– Зарубин, твою мать!!!

Зарубин открыл глаза и в первые секунды не увидел окружающего мира – солнечные протуберанцы выжгли сетчатку, оставив где-то в углу сознания старый негативный снимок бабкимотриного двора, где Зарубин прятался от желания напиться, войны и посыльных красноармейцев, – бревенчатый сарай, дровяная кладка и щелястый забор, в тени которого сердито спал старый глухой пёс Лохма.

– Ааааа, вот ты где! – угрожающе прошипел появившийся в поле ещё не восстановленного зрения силуэт, – я тебя битый час по деревне ищу. На батарее был, сказали – пошёл к бабке Мотре. К Мотре зашёл – на службу, говорит, отбыл («вот старая ведьма»). К соседям – не видели, на артскладе – не видели... Ты что, издеваешься? Мне больше делать нечего – бегать за тобой...

– А чем ты занят? Ты же посыльный. Поэтому тебя и посылают... куда попало.

– Итить... твою мать, – посыльный захлебнулся от возмущения.

– Зачем искал? – Зарубин нащупал лежащий на траве сапог и с притворной строгостью оглядел бабскую фигуру красноармейца в новой, твёрдой, как валенок, шинели.

– Хррр... ты, бля... комполка тебя вызывает. Срочно. Вот... Свoločь ты, Зарубин!

– Комполка? Ясно. Сейчас буду. Он в штабе?

– В штабе.

– Ясно. Всё?

– Всё.

– Свободен. Иди, я догоню, – Зарубин начал осторожно натягивать сапог на правую ногу, стараясь неловким движением не потревожить больное колено. Красноармеец не уходил, наливаясь желанием сказать что-то справедливо-мерзкое.

– Ты... ты...

– Ещё одно слово, боец, и я тебя пристрелю за нарушение субординации. Знаешь, что это слово значит?

– Ты, ты...

– Послушай, Терехов, – Зарубин встал с бревна и расправил складки гимнастёрки под ремнём, – ничего оскорбительного ты придумать не можешь – фантазии не хватит. Солдат ты плохой, для дела революции абсолютно бесполезный, даже вредный во время боя... Поэтому возвращайся в штаб и приступай к выполнению своих обязанностей вестового. А на досуге подумай, может, лучше сбежать обратно в... Откуда ты?

– Из Петербур... Петрограда...

– ...обратно в Петроград и закончить обучение. На каком факультете учился?

– ...на юридическом учился...

– Вот-вот! Республике нужны хорошие юристы, а не плохие солдаты. Ну, убьют тебя, дурака, а убьют – как пить дать, кому ты нужен будешь мёртвый? Мне – не нужен. И нашему комполка, товарищу Милу, тоже не нужен. Ты у него спроси, он подтвердит...

Терехов с ужасом слушал зарубинские слова, потая и поправляя тяжёлую винтовку.

– Я... я...

– Иди, Терехов. И подумай.

– Тебя расстреляют, Зарубин, – выдохнул вестовой и побелел.

– Обязательно. А теперь – ступай. Я догоню.

Терехов через правое плечо развернулся на стоптанных каблуках и развинченно побрёл в штаб, весь скособоченный разговором с Зарубиным и оцетинившись в глубокое приморское небо четырёхгранным штыком. «Сопляк», – чутьчуть печально подумал Зарубин и вышел сквозь некогда зелёную калитку на пустынную улочку. В пыли сидел соседский мальчишка и раскачивался, словно еврей на молитве, широко и нелепо раскидав мосластые ноги. Он был болен, этот мальчишка, вечно голодный и безразличный. Сжимал в кулаке пучок жухлой травы, дёргался, таращил прозрачные девственные глаза. Солдаты кидали ему хлеб и куски сахара, он съедал подачки, поднимая их с земли, продолжая раскачивать голое исцарапанное тело, бесконечно, даже в дождь, в лужах сидел, выживая из воды комья глины и хлебные корки. В жару, в ветер, с утра до вечера. Никто не знал, когда его выносят родители на дорогу, а когда забирают, казалось, что он так и живёт здесь, голый, закинутый Богом в эту глушь из другого мира. Зарубин протянул ему обломок сахарной головы, белой до голубоватости, хотел, чтобы мальчишка взял лакомство из рук, но тот не реагировал, глядя сквозь зарубинскую гимнастёрку, сквозь кожу, скелет, забор, хату бабки Мотри, артсклад, редкий лесок, госпиталь, сквозь дальше и дальше. Зарубин не выдержал стояния с протянутой рукой, кинул сахар поближе к его ногам и пошел в штаб, подволакивая раненую ногу.

Селение было пустынно в этот утихающий день, как может быть пустынен только тыловой населённый пункт, где более полугода не происходит ничего интересного, кроме приездов начальства и прибытия раненых на лечение в госпиталь, организованный в заброшенном монастыре, совсем рядом, не более версты от позиций батареи полевой артиллерии под командованием Зарубина.

Возле штаба – большой добротной избы крестьянина Шевченко, воевавшего у Петлюры за своё счастье, стоял опрятный боец. Не переминаясь с ноги на ногу – ровно стоял; чистая линиялая гимнастёрка,

пинель в скатку, чистые же обмотки, лихая, мятая по фронтовой моде фуражка, а в глазах лукавые искорки пехотинца, выжившего в неоднократных атаках на укрепленные пулемётные позиции противника. Зарубин с удовольствием вскинул правую руку к фуражке, проходя мимо часового, тот подтянулся, приподняв подбородок и прижав винтовку плотно к телу.

– Фамилия? – приостановился Зарубин.

– Кривошеев, товарищ командир.

– Где воевал, Кривошеев?

Часовой замешкался на мгновение, собрался и тихим чётким голосом отрапортовал:

– С германом? да в Восточной Пруссии, товарищ командир, XX армейский корпус генерала Смирнова.

– Ясно, – одними глазами улыбнулся Зарубин, довольный тем, что его вопрос поняли с полуслова. Поднявшись по крепким ступенькам, он толкнул тяжёлую деревянную дверь с приколотым канцелярскими кнопками мятым листком «Штаб», прошёл мимо вальяжных связистов, опутанных проводами, мимо потухшей печи, стен, увешанных агитплакатами, казака, колдующего над самоваром, в комнату командира полка Милича.

Милич сидел за столом в офицерской форме без погон и нашивок, обмотав шею длинным вязаным шарфом. Ему нездоровилось последнее время, что-то нервическое – мимолётные ледяные ознобы, изнуряющий тик. В окне за его спиной плыл тополинный пух, цепляясь за солнечные невесомые канаты, покрывался позолотой, обретал вес, становился чинным и надменным, потом серел, становился вновь прозрачным и исчезал из поля зрения. На подоконнике громоздились пустые стаканы и гильзы от трёхдюймовок, а у стены приткнулся мягкий городской диван с цветастой и яркой, местами замасленной обивкой. И диван, и Милич были чужими в этой комнате – они были оттуда, из погибшего мира довоенных диванов и золотых погон; в жестяной пепельнице струилась дымом папироса, серая мягкая змейка вальсировала, поднимаясь к потолку, раскручивалась, завинчивалась, послушная невидимым сквознякам. У Зарубина внезапно свело скулы от мгновенной неповторимости этой обыденной картины, захотелось крикнуть, запомнить, зафиксировать её, эту умирающую секунду, подарить ей резную тяжёлую раму, мазнуть по вензелям тусклой бронзой, чтобы всё, всё, всё – собственноручно убитый эсэр, сорванные погоны, чужие документы, чужая фамилия, дезертирство, бесконечная смута – осталось там, за пределами быстро стареющего холста...

Милич был пьян.

– Здравствуй, красноармеец Зарубин, – в его цыганских глазах блеснул сарказм, смягчённый радостью встречи.

– Добрый вечер, Юрий Константинович...

– Проходи, не стесняйся... Слушай, меня комиссар хочет отравить. Представляешь? Эта сволочь меня хочет отравить... Методичный та- кой, основательный...

– Чем отравить? Картошкой? – улыбнулся Зарубин, присажива- ясь за стол.

– Самогоном... самогоном, представляешь? Приносит каждый день... я как Бонапарт, только мышьяку комиссар не может достать, вот и носит эту отраву, – из-под стола тускло сверкнула бутылка угро- жающих размеров.

– А сам он где?

– Уехал в дивизию. Там какие-то новые... эти... как их? Ну их к чёр- ту! Директивы! Во! Директивы новые... Вот и уехал, вернётся с целым саквояжем директив. Каждому солдату по директиве...

– Тебе-то чего бояться директив? Ты неприкасаемый, Фрунзе тебя знает...

– Я за тебя боюсь... за тебя, понимаешь? Ну и за себя, конечно. Издёргался весь... Помнишь? «Выявить и уничтожить чуждый эле- мент...» А кто такой этот «чуждый элемент»? А? Офицеришки мы с то- бой, офицеришки – эти, хаха, попы... дезертиры... бежать тебе надо... Бежать!

– Поздно...

– Не поздно! Я не могу тебя бесконечно покрывать. Земля ма- ленькая. Ведь встретились мы с тобой... Где гарантия, что ещё кто- то из нашего училища не окажется здесь? Узнает же, и донесёт... Мы же встретились, встретились... несмотря на мизерную возможность. Встретились... Беги. В Береговом лодка есть у старика Никитина, он её прячет в... в этом, неважно, узнаешь, говорят, она с парусом. Ты же яхтсмен, сучий сын, управисься. Рраз – и у Врангеля...

– Не получится...

– Почему, почему?? Скажи, почему не получится?

– Я боюсь...

– Чтооо? – у Милича вытянулось лицо.

– Я не хочу, чтобы какой-нибудь лихой авиатор, белый ли, крас- ный ли, стрелял в меня из маузера, а ещё хуже – из «льюиса». В море, как на ладони, он будет надо мной кружить, пока не надоест или пока не убьёт меня. Понимаешь? И спрятаться негде...

– А ты ночью, ночью...

– Без навигационных приборов куда я пойду? Не смейся. Я же не жюльверновский персонаж, чтобы по звёздам ориентироваться... Я са- мостоятельно никогда не выходил. Да и безнадёжно всё это. Кто меня там ждёт, краснопузого? Слащёвские ребята и разбираться не ста- нут – шлёпнут от греха подальше. Для них я красный, краснее некуда. Здесь – маскирующийся царский офицер, там – красный. Водевиль какой-то...

– Господи... как же тебя угодило застрелить этого революцио-

нэра?! – Милич отчаянно закусил картонную гильзу папиросы жёлтыми зубами.

– Нет, не угораздило. Я сознательно это сделал, – Зарубин побледнел и устало опустил голову. Потом внезапно вскинул злые сухие глаза. – почему я тебе должен это объяснять? Шестьсот орудий... гаубицы, мортиры, пушки, чёрт, мы наступать должны, как давно не наступали, румыны выступают, мы бы до Вены дошли, до Берлина... К чёрту бы на кулички дошли... а тут эта сука Керенский со своим приказом... А депутатыки эти, эсэришки, сразу в окопы, не наступать, мол, нет, мол, войны. И ко мне на батарею этот пролетарий проник... Да какой там пролетарий! Говно, насекомое развратное, и расчёты мои собрал – приказ читать. Лучший наводчик Зарубин, служака, стоит, ушами хлопает...

– Это его документы ты?..

– Его, родимого, его... Даже Зарубин... Понимаешь? Румыны вперёд рвутся, им поддержка нужна, фрицы в панике, драпать готовы без оглядки, а у нас орудия молчат... Понимаешь, понимаешь ты, офицеров режут, как баранов?! А правый фланг развернулся, винтовки побросал – и кто куда, и мои стоят, рраазмышляют! А этот, рыжий, стелет и стелет, стелет и стелет: «по домам», «мир», «жёны ждут, дети», «Керенский»... Справа – пусто, там уже драгуны венгерские к нам в тыл заходят... шестьсот!!! орудий!!! молчат!!! Я что, на митинге должен был выступать?! Пехота бежит, тёрцы нас выручать – фарш, всех выкосило, а этот стоит и стелет, стелет... Понимаешь??

– Понимаю, тихо, не кричи...

– Ни хрена ты не понимаешь! Я бы его ещё сто раз шлёпнул, и Керенского, и... и...

– Тихо, тихо... успокойся... Давай ужинать... Глущенко! Потом поговорим... Глущенко!

Глущенко принёс пузатый самовар, и сам – пузатый, меднолицый, засуетился по-бабьи: картошечка, сало, лук, яйца варёные вкрутую, одетая в маслянистую жёсть тушёнка; и пошла пьянка, вязкая и липкая. Много рвётся из развязной глотки, но страшно сказать, и слёзы закипают; подушкой бы накрыть лицо, задушить эти слёзы, загнать откровения в спазмированные лёгкие. Першит горло – лук или вонючая самодельная водка, или накурено, или пропасть затягивает, страшно сосёт силы, до головокружения, колено уже не болит, а глаза мутные... И воспоминания, опережая друг друга, лезут, тесно им в голове.

– А помнишь?

– Глущенко!!!

– А помнишь? Помнишь...

– Глущенко, капуста есть квашеная?

– А помнишь, помнишь?

– А ты помнишь? – воспоминания не выстраиваются в очередь, прут, сминают друг друга...

– А помнишь....

– Глуценко!!!

– Помнишь старшину «Шимозу»? Ха-ха-ха, – рот разрывает от безудержного смеха.

– Шимоза! Что за одеколон у него был?! Ха-ха-ххххрр-ха! Хуже иприта...

– Глуценко! Ты где служил?

Медный Глуценко не понимает.

– Ты где служил, Глуценко?!

– Тихо, Зарубин, тихо...

– Я спрашиваю, где ты воевал?!

– Я при штабе...

– Тихо, Зарубин! – Милич мягко толкает в плечо.

– При штабе, значит, – змея скользнула по губам, холодная и презрительная, – пшшёл вон, Глуценко!

– Ты чего завёлся, Зарубин?

– При штабе он...

– Хрен с ним, давай за окончание войны. По чуть-чуть. Я совсем пьян.

– Не надо за окончание.

– Давай за окончание. Хочется пожить ещё, – Милич булькает самогоном в стаканы.

– После войны нас не будет. Мы не нужны. Ты ещё нужен. Но – это временно. Тебя тоже к стенке. Всех к стенке. Останутся только кристальные. И мудаки. Кристальные и мудаки останутся. Кррристаааль-ные мудаки... Остальных вычистят. И тебя... Меня раньше. Но тебя не забудут, но надейся. В их будущем нас нет...

Кружилась комната, страх сменялся весельем, потом надеждой, всё рушилось – и опять страх, и снова холодно в животе от предчувствий, а потом – эээх, прорвёмся, будем жить, порубаем всех... Кого? Зачем порубаем? Всех! И поживём, и попьём, все бабы наши, нет ни белых, ни красных, ни немцев... И войны уже нет, есть только душная комната с миниатюрной картинкой мира в раме окна; старался кто-то, выводил чёрной тушью тончайшие линии деревьев, и горизонт легко черкнул из угла в угол...

– Юра, – Зарубин решил вдруг, – ты выдай меня, Юра. Не губи себя, мне всё равно конец, рано или поздно. Это хождение по проволоке, ты не циркач, ты офицер, ты не сможешь удержаться...

– Не будь идиотом, Зарубин, ты пьян... И меня сволочью не пытайся сделать. Как будет, так будет.

– Нет, это ты пьян, поэтому и смелый...

– Пьян ты. А я смелый и без водки...

– Ты горький пьяница, и ты смел, потому что пьёшь беспробудно, – засмеялся Зарубин.

– Я пью от храбрости и от жалости к людям. Мне их жаль за их слабость.

- Нет, ты трусишь, поэтому клянчишь у комиссара самогон...
– Он сам мне его носит!
– Ты вымаливаешь на коленях у комиссара каждую бутылку...
– Хватит, я герой. Я сейчас могу сам пойти на Крым и взять его...
– Потому что ты пьян... Ты дойдёшь до ближайшего притона и возьмёшь его геройски, вместе с рябой крестьянкой... Ты пленишь её душу своим столичным шикарным шарфом...
– Я возьму Крым! И войне конец.
– Милич, ты не исправим. Я иду спать, чтобы не ходить с тобой сегодня в атаку. Ты пьян... как лошадь.
– Правильно! – оживился Милич, – возьмём лошадей и поедем в Мелитополь. Там, говорят, много добрых вдов. Они нам будут рады.
– До Мелитополя мы не доедем – нас арестуют.
– Нас не могут арестовать! Мы красные командиры! У нас мандаты! Мы их сами арестуем! – Милич вскочил со стула и заметался по комнате в поисках портупеи.
– Милич, я иду спать. Завтра учебные стрельбы. Надо подготовить расчёты, дел много, рано вставать, и... пошёл я.
– Хорошо, не в Мелитополь! – не унимался Милич. – махнём в госпиталь. Там сестрички скучают – раненых мало, два обосравшихся от дизентерии и три калеки... Сестричкам скучно, пожалей их!
– Нет, я иду спать.
– Сестрички... – ныл Милич.
– Спать, спать... И тебе советую. Ты уже похож на тень...
– На чью?
– Не надейся, не отца Гамлета – на тень Милича, небритую, пьяную и вонючую.
– Зануда ты, Савёлов! В училище был зануда, таким и остался, занудой...
– Я – Зарубин Мефодий Яковлевич, запомни, идиот! – зубы скрипнули не от злости, от чувства неизбежности.
– Пардон, господин Савёлов... Ой! Зарубин, – Милич присел в книксене, – всё перепутал. Поощрение и новые сапоги – красному командиру второй батарее Зарубину, а позор и петлю – беглому офицеру царской армии Савёлову. Какой ты к чёрту Мефодий Яковлевич?! У тебя же на лбу написано...
– Ложись спать, тебе хватит, – Зарубин встал и шатаясь пошёл к выходу.
– Постой, давай ещё выпьем... У меня тут припасено! Каналья... Где же?..
– Оставь на следующий раз. Оставь, прошу тебя...

На улице хлестнуло в лицо свежестью, словно кокаином взорвало ноздри, голова после секундного просветления пошла кругом и отяжелела совсем. Лестница оказалась незнакомая и очень крутая. Здорово, что сменили хорошего часового Кривошеева – Зарубин не хотел быть

таким перед этим солдатом. По тёмной улочке, наугад, натыкаясь на смутные заборы, он побрёл к бабке Мотре, бубня первые строчки давно забытой песни...

– «Белеет парус одинокий...»

Призрачно, мирно и тревожно, словно проходишь через гостиную, где девочка в белом играет на фортепиано и поёт романс. Бесконечное количество раз мимо этой гостиной, короткий взгляд сквозь приоткрытую дверь, голоса каждый раз меняются – бас, тенор, фальцет, наслаиваются друг на друга, вытесняя все мысли...

– «В тумане моря...»

Глаз улавливает необъятную Вселенную: кружевное платье, портреты предков на английских обоях, паркет вощёный, только нет свечей на полированном инструменте возле нотного альбома – день ещё бьётся сквозь шторы, светло...

– Что ищет он...

«Чтоищетон-чтоищетон-чтоищетон...». Сумбурно, как на вокзале, голоса заполняют перрон, давят угловатыми плечами изнутри на глазные яблоки, курят много, дурманя до сладкой тошноты, чемоданы, полные чужих вещей, падают под ноги, рвутся ненадёжные баулы – свёртки, рубахи, громоздкая кухонная утварь – всё это яркими болезненными пятнами валяется под ногами, кричит и просит забрать с собой...

«Чтоищетон-чтоищетон-чтоищетон... Господи, как я пьян!» Заборы налетали то слева, то справа, вырастали перед лицом и косо падали в неизвестность. «Господи, Господи...»

Ноги зацепились за что-то мягкое, и тело совершило абсолютно невозможный для трезвого человека кульбит.

– Да что за...!!! – чёрное небо, чёрная земля, чёрная трава, что-то мягкое и тоже чёрное сопит, шевелится сбоку, в кармане фонарь, где-то здесь, ага, вот, чччёрт, не включается, английская зараза, не включается, жидкий лучик моргнул, вырвал из темноты невнятное, снова погас, ещё темнее стало, зажёгся и забегал в поисках ориентиров... Худая рука, тряпки, грязная пятка...

– Ты кто?

– Ммммм...

– Ты кто, я спрашиваю?!

– Ммммм...

– Это ты?!

В пыли, как и днём, грязный и согнутый, сидел мальчишка, страшный в жёлтом конусе света, один на всю Вселенную.

От сердца с хрустальным звоном откололся кусочек, почва дрогнула от боли всех умирающих и безнадежных, слёзы горячо, без предупреждения, потекли по руслам искажённого судорогой лица...

– Ты, ты, тты, хх, ты, – Зарубин только на секунду замер, всё было в этом мгновении – река Ипр, кавалерийские рейды, нелепые танки,

рвущие проволочные заграждения, дизентерия, бесконечные линии окопов, беженцы, беженцы, беженцы, надежда жить, спасительный спирт, ампутация, эта война никогда не кончится, она вечна, дети не ходят в школу, крестьяне воюют, а не сеют, все связи нарушены, из этого месива не выбраться, все умрут, об этом некому будет даже написать, он, враг, – там, он, враг, – здесь, можно только выпить и надеяться, что конец наступит незаметно, без предварительных процедур, тянущих жилы из трясущегося тела...

Мальчик замычал, продолжая качаться бесконечным бледным маятником.

– Ты, ты, ты, – Зарубин обхватил его мумифицированное тело, встал, не обращая внимания на боль в колене, и толкнул спиной калитку, за которой открывался запущенный соседский двор, слабо освещённый прямоугольниками мутных окон.

– Я тебя сейчас... сейчас... домой... Там мама твоя... она забыла... сейчас, сейчас...

А в голове: «Убегу. Всё. Нет сил. Лодку взять. У этого, старика, как его... Никитина. Лодка. Как-нибудь доберусь. Догребу. Не могу больше...»

– Тихо, тихо, успокойся, – дверь, запах сухих трав и квашеной капусты, ещё дверь...

«Здесь я чужой, чужое имя, чужая жизнь... зачем? Всё равно убьют. Сегодня же бегу».

– Всё хорошо, уже пришли...

Комната была жаркая и хорошо освещённая керосиновыми лампами. На столе громоздились тарелки и чугунки со снадьёю.

Вечерние крестьянские лица, подозрительно-равнодушные, глаза выдают пьяную угрозу...

– Мальчик ваш, – Зарубин неловко опустил свою ношу на пол, – забыли? Он мёрз там. Ночь. Голодный. А вы тут веселитесь.

– Не твоё дело, командир, – один бородач колко стрельнул голубыми чистыми глазами: – принёс – спасибо.

– Не моё, конечно... А мать его где?

– А зачем тебе его мать? Сделал дело – иди Христа ради...

Всё правильно, пора уходить. Но что-то держало Зарубина. Вечная ненависть к равнодушию, остатки хмеля и злость идиотского стояния под прицелом насмешливых глаз.

– Вы его накормите... – взгляд скользнул по аппетитным разносолам.

– Да иди ты! – не выдержал тот, что помоложе. – Какое твоё собачье дело?

– Чтоо? – внутри полыхнуло и лицо покрылось гипсом решимости. – Что?

Тело шагнуло чуть вправо от сидящего на полу мальчика, а рука скользнула в карман шинели, сразу поймав деревянные насечки револьверной рукояти.

– А, собственно говоря, что вы здесь делаете? – голос стал проникновенным, – почему не на фронте? Дезертиры?

Бородач поперхнулся картошкой и зашёлся в безудержном кашле...

– А документы у вас есть?

В наступившей тишине мычал мальчик и судорожно рвал горло голубоглазый бородач. «А он не так стар, как кажется», – мелькнула мысль.

– Я спрашиваю: документы есть?

Молодой встал изза стола и начал приближаться к Зарубину, шипя:

– Какие тебе документы?

– Документы, гнида! – взвился Зарубин, – твои документы! Де-зертир, сука, жрёшь... А пацан на улице ночью, каждый день... А ты жрёшь, жрёшь, жрёшь... А должен воевать! Документы! И где хозяйка дома? Где мать мальчика?! Где, я спрашиваю, хозяйка?!

– Хозяйка? Да вот же хозяйка, – молодой показал рукой за спину Зарубина. Тот невольно проследил взглядом за полётом ухоженной, не крестьянской ладони и упал на пол, сбитый с ног и придавленный угловатым чужим телом.

– Вяжи его!!! – заорал бородач, сипло, сквозь кашель, – вяжи крепкк... хххаааа!! Вяяхххррр...жиии!!!

Топот ног и мелькание заполнили мозг, вспышки ярости от бес-силы рвали мышцы и надували сердце до размеров грудной клетки. Встать, встать, встать!!! Сейчас, всё равно что будет, встать!

Он плевал кровью в грязный дощатый пол, ломал ногти, и в него впивались занозы, сухие и корявые.

– Суки... всех убью... офицеррра!.. лейтенанта Савёлова!.. Ссуки... застрелю... На фронт!.. Всех!

Силы уходили вместе с розовой пеной из разбитых губ, крестьян-ское крепкое колено безжалостно давило на шею, руки закручивались до хруста в суставах, назад, к затылку...

– Уууубью!!!

– Вяжи ему руки! – хрипел потно бородачатый своему товарищу, – голову, голову держи...

Дыхание срывалось под натиском пьяной враждебной энергии.

– Крепче, крепче вяжи...

– Убью!!!

– Он ещё грозитя! Н-н-на!!!

Тяжёлый удар в висок сместил происходящее на некоторое время назад, дощатый пол вздыбился взрывом крупнокалиберного фугасно-го снаряда и осыпался комьями глинистого грунта...

– К орудиям! – скомандовал сонно Савёлов. Он всё делал как во сне с тех пор, как сорвали погоны, с тех пор, как начали на митин-

гах решать: ходить или не ходить в атаку, а офицеров величать «товарищами». Красный бант он так и не нацепил – минимальный протест удивлённого мозга против неожиданных и всеобъемлющих изменений, и словно уснул... Его батарея в больших делах давно не участвовала, где то наступали, больше – отступали, недалеко прорвали фронт, но не воспользовались инициативой, приезжали бодрые молодые люди из Питера, все с невероятными полномочиями и красноречивые, патриоты и демократы, до омерзения похожие на провинциальных оперных певцов – такие же беспощадные к чужим словам и жизням... Юрку Туманова вчера расстреляли – он кинул солдата на гауптвахту за неподчинение приказу. Совет его приговорил быстро и так же быстро Туманова не стало, – без сапог, испуганный, он крестил трёхэтажным конвоиров, пока его вели, – он не верил, и Савёлов не верил. А актёршишка в солдатской шинели, с лицом, напудренным и измождённым, препарировал Юркин проступок перед собравшимися артиллеристами: странные слова, неземные, нужные только сегодня, когда необходимо срочно шлёпнуть строптивного офицера. Напудренный петроградец не мог отдать приказ о расстреле, он мог развернуться и уйти, и он ушёл, оставив свою речь нацарапанной в воздухе. Савёлов почти не слышал сквозь сон – приятно спать, и промелькнул Юрка в последний раз, словно ночной фантом, грохнуло через подушку глухо... и всё...

Спать, спать, спать, пить холодный чай, есть холодный суп, спать, курить, переждать этот ужас, несправедливость. Всё пройдёт, спать, не тратить силы, они уходят сквозь язвы самосудов, вместе с безнаказанными дезертирами. Главное не умереть. Страшно воевать, и страшно погибнуть растерзанным собственными солдатами. Спать, спать, спать, ласкать в кармане золотой червонец с памятной зарубкой и ждать, ждать...

– Расчёты, к орудиям!

Но солдаты сгрудились возле незнакомого пехотинца, явно безглого, без винтовки и с тощим мешком за спиной.

– Румынская беднота, обманутая своими империалистами и помещиками, безропотно... – голос у дезертира был звонкий, – а мы?! Мы – свободная армия. Революция отменяет войну... Товарищ Керенский... Революционный комитет... не будем проливать кровь за чуждые трудовому классу интересы...

«Свободная армия! – брезгливо поморщился Савёлов и посмотрел в полевой бинокль на расположение соседней батареи. Там тоже шёл митинг, а урядник Кириллов пытался разогнать его, размахивая револьвером. – Чёрт. Что же делать? Мы уже двадцать минут должны вести огонь». Он живо представил, как румынские батальоны, скользя по осыпающимся брустверам, под резкие сержантские свистки лезут неловко из окопов, проклиная молчащие

русские батареи, войну, врагов и союзников, особенно союзников, идут в атаку, слепые от ужаса и надежды. «Чёрт, чёрт, чёрт!»

– Война до победного конца от-ме-ня-ет-ся! Мир!!!

На левом фланге бурлила эта самая «война до победного конца», мир клокотал и умирал в каждом упавшем солдате...

– Мы больше не будем проливать свою бедняцкую кровь!

А кровь лилась, чужая, била пульсирующими фонтанчиками, а в голове – «чёрт, чёрт, чёрт!!!»

На соседней батарее Кириллов выстрелил предупредительно в воздух, и его наскоро закололи штыками, не прекращая митинга. Савёлов резко убрал окуляры бинокля от глаз и вспотел от бессилия. «Всё, надо уходить. Кончено», – созрело в голове. На опушку редкого лесочка выползли три немецких броневика и начали нюхать воздух, вытянув тупые бульдожьи морды в сторону савёловской батареи, замелькали между клёпаной бронёй каски-горшки, потащили тяжёлые пулеметы, треножки устойчиво упёрлись в землю, вторые номера услужливо расправили ленты... «Всё!!! А мы – ни одного залпа...»

– Все по домам!

Справа, на поле, за клубилось облако из пыли и австрийских уланов – плотно, угрожающе, густо и совсем недалеко, примерно в версте, разворачивалось это облако, огибая тихие батареи, брошенные и безопасные...

– Уходим в лес! – продолжал звенеть голос, – хватит, навоевались!!!

«Прав. Ой как прав этот провокатор! Не изменить ничего. Кончено... С такими солдатами нельзя воевать, даже отступить почеловечески нельзя – только бежать, только драпать...» – Савёлов повернулся в сторону бесконечного голубого леса за спиной и увидел, как, прижавшись низко к лошадиным шеям, без привычного гика, неслись полсотни тёрских казачков – явно наперерез австрийской коннице.

«Мало, слишком мало», – отрешённо и вскользь подумал Савёлов, когда мимо него мелькали пыльные лошадиные бока, нервные мускулистые ноги, стремена, драгунские карабины и пики, словно редкая и кривая гребёнка...

– Что ж вы, братцы-артиллерия, сукины дети, молчите?! Нам что, задаром погибать? – конопатый казак свесился из седла в сторону Савёлова, придерживая пляшущую кобылу, и глазами, бешеными, как у зверя, на котором он сидел, начал душить Савёлова, раздевать, и сорвал погоны, уже сорванные раньше другими людьми, и высек его прилюдно, и, дёрнув поводья, плюнул на прощанье, как можно плюнуть только в портовую проститутку, больную льюисом, и то не плюнул бы, а в Савёлова плюнул.

Немецкие бульдоги заволновались на опушке и затаивали на

кавалеристов, осыпая броню и землю вокруг себя золотой шелухой стреляных гильз, и пулемёты на треножниках запрыгали, пожирая ленты, голодные, разогреваясь во время трапезы, накаляясь и пыльная маслянистый горелый дымок в прозрачный воздух.

– А-а-а-а! – захрипел вдруг Савёлов низко и тихо, когда казаки споткнулись о плотную стену огня, и рыжий, плюнувший в Савёлова, вылетел из седла, и другие валились вместе с лошадьми на полном скаку, страшно ломаясь, невидимые пули выкусывали их из потока, рвали шинели и покатые крупы, только десяток самых быстрых успели врезаться во встречное плотное облако, и оно проглотило их быстро, переваривая, остановилось в недоумении, откашливая застрявшие в горле пики безнадежной кавалерийской атаки...

Тело Савёлова дёрнулось инстинктивно в сторону продолжающегося митинга, ковырнуло из кобуры наган, и проснувшимся голосом, как на плацу, словно и не было беспогония и революций:

– К орудиям, суки!

Артиллеристы вздрогнули привычно, только дезертир медленно повернулся к Савёлову и, уверенно улыбаясь, зыркнул по взъерошенной фигуре командира батареи:

– А ты, га-спа-дин-а-фи-цер, шёл бы, покуда цел, а то ненароком...

И, не договорив, повернулся равнодушно спиной, разделив этим движением Савёлова на двух людей – офицера, выпускника Михайловского артиллерийского училища, сына своих покойных родителей, плохого и честного картёжника, тайного пиита, и... и... и на другого – мятошинельного полуначальника разлагающегося сброда с бесполезным наганом в правой руке.

– Не смей поворачиваться спиной к офицеру! – заорал Савёлов из своего некогда упорядоченного мира.

Из-за шинельной стены раздались смешки, только глаза Зарубина, лучшего наводчика, блестели сомнением и страхом возможного развития событий.

– Не смей!!! – резанул воздух крик Савёлова, отразился эхом от шинелей и упал в грязь, не произведя никаких разрушений в новом порядке вещей.

Спины митингующих стиснулись в плотную кладку, оставляя всю войну, и Савёлова, и отрёкшегося царя, и мёртвых казаков в истории, бледнеющей на глазах, мгновенно рассыпающейся в прах и странно-ненужной никому...

Первый раз в жизни Савёлов стрелял в человека, ужасно, в спину, в стену, в чужую правду, глядя не в цель, а в потерянные глаза своего наводчика, весь барабан – до последнего патрона и пустой наган щёлкал долго вхолостую, и голос взвизывался, вторя каждому бесполезному повороту барабана:

– К орудиям, суки, к орудиям, к орудиям, суки, к орудиям...
Бе-его-ом!!!

И побежали, побежали, а он лежал ничком. Суeta съела напряжённость, всё лишнее осталось на потом, он лежал мёртво, а орудия ожили, Савёлов забыл нужные команды, с вросшим в костяную руку наганом, а Зарубин что-то орал, орал, орал...Снаряды вынули из казённых гробиков и положили в хорошо отполированные ясли, чтобы они воскресли, заскучавшие было, вышли в свет, показали себя людям, а агитатор лежал в дырках, бурых и небольших, и с глупым заплечным мешком, и в нём тоже была савёловская дырка... Потом грохнуло... Вокруг бронebuльдогов выросли густые глиняные деревья с неопрятной дымной листвой, пожухли быстро деревья, снова выросли, один броневик лопнул и закоптил, остальные попятнулись в лесок, продолжая плевать уже в сторону батареи. Воздух наполнился невидимыми свинцовыми нитями, и начало боя вернуло на плечи Савёлова забытую тяжесть командирства и собранности...

ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА. «ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«Здравствуй, Дашенька! Наша краткая переписка, похожая на телеграфные сводки, ко всему ещё нерегулярная, привела меня к необходимости завести дневник, в котором я буду фиксировать все новости, по известным причинам не дошедшие до тебя. Да, да... и цензура, и ненадёжность почты, и полное нежелание, чтобы нежные слова, предназначенные только тебе, люстрировались каким-нибудь усердным большевиком.

Всего полторы тысячи вёрст, а кажется, что ты на другом конце земли. Петроград далеко от наших сонных азовских степей, здесь, кажется, ничего не происходит. Война далеко, её даже не слышно. А ты рассказываешь, что у вас идут спектакли. Пусть нечасто, пусть эти странные пьесы... Однако жизнь! Только голодно, я думаю. Ты это скрываешь (или не можешь писать), но я чувствую, поэтому не вздумай отказываться от моих посылок. У нас хороший паёк, а деньги, которые я посылаю, мне здесь в глуши абсолютно ни к чему. Дорогая, ты их не откладывай «на чёрный день», цены растут с невероятной скоростью, копить бессмысленно. Ходи на рынок и покупай продукты. Ты должна хорошо питаться, чтобы играть на сцене.

А война пройдёт, и всё наладится! Написал – и чуть не разрыдался, как гимназистка. Я не знаю, когда она закончится. Кажется, так было всегда, эти бронепоезда и безобразная разномастная кавалерия. С ужасом думаю, кто же управляет этими бесконечными потоками... Кажется – хаос... Но идут бои, формируются новые дивизии, есть даже план наступления... Страшно то, что процесс не остановить, не может быть пере-

мирия, даже временного. Пусть погибнут все командиры, орды головорезов с обеих сторон будут продолжать рвать друг другу глотки, пока одни из них не прекратят физическое существование. Господи! Возможна только полная победа, безоговорочная, когда противник стёрт с лица земли. Ни аннексий, ни контрибуций, белый флаг, Гагская и Женевская конвенции потеряли свою актуальность... Смерть, смерть, смерть... Если попал в чужие лапы, не надейся, что будешь «военнопленным», молись о быстром расстреле, без мук и пыток... Прости, Дашенька. Надеюсь, ты никогда не прочитаешь эти строки... надеюсь, эти строки вообще не прочтает никто. Надо надёжно спрятать дневник или носить его с собой. Нет, если арестуют, он может служить поводом для больших обвинений. Хотя сейчас не обязательно быть виновным, чтобы поставили к стенке. Хотел дать дневник на сохранение Глуценко (это мой денщик), он, кажется, неграмотный, но испугался его подлых рабских глаз...»

ГЛАВА 2

*И лампа не горит, и врут календарь,
И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори.*

*Любой обманчив звук, страшнее тишина,
Когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина.*

*И чёрный кабинет, и ждёт в стволе патрон,
Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро.*

*На площади полки. Темно в конце строки,
И в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки.*

*И где-то хлопнет дверь, и дрогнут провода.
Привет! Мы будем счастливы теперь и навсегда.*

«Сплин»

– Зарубин! Зарубииин! Просыпайся! Да очнись ты, чёрт!

Чужая фамилия проникла в сон, терзала больной мозг настойчиво, звенела и множилась на разные голоса. Он с трудом открыл глаза и временно ослеп от яркого света. В голове стукнуло сильно, и сразу накатила тошнота.

– Ммм, – простонал Зарубин.

– Жив... Ну, слава Богу. – Милич был во всей своей похмельной красе: бледен, китель застёгнут на все пуговицы, а в глазах нервная жажда.

– Ммм...

– Молодец. Герой.

– Пошему херой? – прошелестел Зарубин, судорожно сглатывая ком в горле и пытаясь понять, где он находится. Это был госпиталь. Пустые койки в ряд и силуэт в белом на границе слабого зрения.

– Не скромничай, – Милич присел рядом на табурет. – Герой. Белый заговор разоблачил. Орденом. Не менее.

Зарубину показалось, что последние слова никак к нему не относятся.

– Что случилось? – речевые функции постепенно возвращались, – воды. Какой заговор?

– Сестричка, принеси воды герою. А ты что, ничего не помнишь?

Лицо Милича приблизилось, и пахло резко одеколоном и пергаром.

– Не дыши на меня, – попросил Зарубин.

– Нежности. Какие нежности для красного героя.

– Прекрати называть меня героем.

– Хорошо. Не буду. Выпей воды.

– Не сейчас. Мутит. Объясни...

– Сейчас объясню.

– Не тяни. Курить хочется, – Зарубин вдруг представил, как лёгкие заполняет едкий дым, и быстро добавил, – нет, не хочется...

– Не надо тебе курить. У тебя голова... Хм... Хорошо тебя обрабатывали, да... Ну, ничего страшного. Отдохнёшь в госпитале, отъешься, выспишься. Курорт и сестрички такие милые! – Милич перешёл на шёпот. – А доктор, какой тут доктор! Мечта, а не доктор. Такому доктору можно романсы петь. Да... Екатерина Дмитриевна.

– Женщина? – не удивился Зарубин.

– Не просто женщина, а богиня. Такие теперь редкость. Тем более в нашей глуши. Говорят, в её сторону посматривает какой-то комдив из Первой конной. Слухи, наверное...

– Это, конечно, всё замечательно, но отчего я вдруг стал «героем»?

С лица Милича внезапно сползла улыбка, он стал похож на мертвеца: костяное лицо, словно бы вырезанное аккуратными движениями гравёра, голос звякнул чужими нотками.

– А ты это хочешь знать? Обязательно желаешь знать? или прирешешь как есть?

– Хочу.

– Как тебя спеленали эти крестьяне у себя в избе, помнишь?

– Помню... так себе, не очень ясно помню.

– Так вот, после этого они вызвали патруль. И сдали тебя. Не просто сдали, а поведали, как ты себя чужой фамилией называл, и расстрелять их грозился, и ещё много чего наплели. Букет полный. А ты лежишь, не мычишь. Хорошо, комендант немедленно за мной послал. Я разобрался в чём дело – сразу обыск у этих крестьян. А у них!.. В погребе винтовки и патроны. Ну, допрос, как положено, они и сознались, что готовили мятеж. А зачем мятеж в нашей глуши? Ну, не знаю, враги трудового народа, к ним в голову не залезешь...

– Чушь...

– Чушь в том, что ты натворил...

– Чушь, никакие они не мятежники. Винтовки сейчас у всех. Это не преступление. Обыкновенные деревенские хамы.

– Да? Ну это уже не важно.

– Почему не важно?

Милич смотрел внимательно и долго, поджав губы и тихонько покачивая головой, отстранённый и усталый.

– Да потому что уже поздно.

Страшно вдруг качнулись в голове и потолок, и Милич, и яркое окно за спиной Милича, и кровать, ставшая холодной и шершавой, пытавшаяся сбросить Зарубина, – всё пришло мгновенно в движение, раскрутилось бешеной каруселью и так же быстро остановилось. Зарубин физически ощутил, как всё нелепо и несправедливо устроено в этом крутящемся мире, где пьянка приводит к смерти, где людям, скрывающимся под чужими фамилиями, дают ордена, где самые лучшие порывы влекут за собой дикие последствия: и полетят газеты с портретом героя, и закрыты теперь дороги к отступлению, и не вернуться, и не стать снова Савёловым, невозможно, грубо всё и крепко сплетено в жуткий клубок совпадений. Так душно, душно, безвозвратно, и только маленькая надежда ещё теплится...

– Их не расстреляли?

– Не волнуйся, уже всё позади...

– Ты мне только скажи, их же не расстреляли? Ну скажи, их же не могли расстрелять! Ты же не мог этого сделать! Ты...

– Не кричи... Сестра! У него носом кровь пошла! Сестра! Не ори, кретин, всё нормально, тебе нельзя нервничать. Сестра! Лежи, не вставай... Сестра!

Сестра прибежала вся в белом, хватала запястье прохладной рукой, обрывком бинта стирала кровь, а Зарубин бился от боли, тело рвало на куски, в мозгу вспыхивали серебристые зигзаги, взрываясь внутри глаз холодным обжигающим пламенем, а вокруг забинтованного черепа плавали неземные и тревожные голоса.

– Приступ...

– ...Судороги...

– Доктор, прошу...

– Помогите, держите руки...

– ...Инъекцию...

– Как железная...

– Уходите, от вас толку мало...

– ...Привяжите ноги...

– Что с ним?

– Не мешайте...

– Ааааа...

– ...Держите...

Тело внезапно ослабело, и голоса вокруг стали глухими, словно накинули на них ватное одеяло.

– Сейчас ему станет легче, укройте... заснёт...

– Что он там шепчет, доктор?

– Он говорит, чтобы мы все шли... Бредит...

...Бегство трудно остановить. Бежать, бежать, хрустко ломать опавшие ветки, вилить между деревьев, хрипеть, давясь воздухом; звуки глухие снаружи, глухие и плотные внутри – пульс рвёт грудь, бьётся в ушах, сердце под рёбрами и в голове, сердце в отяжелевших ногах, сердце в указательном пальце на спусковом крючке бесполезного нагана, хвойные лапы хлещут по мокрому, безвольно расслабленному лицу, губы немеют и слоняво кривятся, бежать, бежать, Зарубин отстаёт безнадёжно, падает на землю, поднимайся же, Зарубин, бежим, вставай, вставай!

– Не могу. Я... я-м... я-мммм... я не могу.

– Что? Вставай! Зарубин, вставай, милый, не время, Зарубин, вставай, не сейчас, скорее, вставай...

– Не могу-мммм. Я-ммм...

– Что ты мычишь, Зарубин?! Что? Где? Ранили? Где? Где? Покажи. Не мешай. Я сам, убери руки... Здесь? Здесь... Сейчас... шинель... Сейчас посмотрю...

Под шинелью маслянистым пропитанная гимнастёрка, чёрная, красная, коричневая – скользко и холодно...

– Господи, как же тебя... Ко мне! Помогите, Зарубина ранили! Стоять, я сказал! Ко мне! Все ко мне! Взяли под руки, под руки, я говорю, Господи, осторожнее, Зарубин, смотри на меня... Нет, так не годится. Опускайте, надо перевязать...

– Догонять, командир, драгуны догонять, – солдатик незнакомый, молодой – пехотинец с ручным пулемётом.

Стоп. Надо прекратить этот бег.

– Фамилия?

– Столетов...

– Не догонят, Столетов. Не сунутся в лес. Боятся. Ложись вон возле той ели, вон там, смотри... Если увидишь конных – стреляй. Понял?

– Понял... Аааа?..

– Выполняй!

Солдаты собрались в круг и смотрели устало на раненого Зарубина. Их было десять. Восемь савёловских артиллеристов и два пехотинца, бородатых, бледноглазых и немолодых. Савёлов обвёл всех взглядом. Десять. Нет, одиннадцать – ещё этот молодой пулемётчик. И Зарубин. Двенадцать. Драгуны не появлялись. Столетов иногда поворачивался и отрицательно качал головой – никого. Зарубина перевязывали, как могли, разорвав на ленты чью-то гим-

настёрку, двое соорудили из тонких берёзок и зарубинской шинели носилки. Все отдышались и готовы были продолжить бегство.

«Сейчас начнётся», – подумал Савёлов, а вслух:

– Несём раненого по двое. Через полверсты меняемся, чтобы не устать. Движемся на юго-восток. Там есть несколько деревень недалеко, на какуюнибудь выйдем. Я впереди, замыкает Столетов.

– А где твой восток? Кто знает? – один из бородачей-пехотинцев насмешливо повертел головой, словно оглядываясь.

– Я знаю, – сухо отрезал Савёлов, заранее предполагая, что сейчас произойдёт.

– Не донесём раненого, – глядя в сторону, безразлично пробурчал второй пехотинец.

Артиллеристы молчали, опустив головы.

– Вы тоже отказываетесь нести? Ясно... Зачем же носилки делали?

– Думали, донесём. А он совсем уже... не жилец.

Это кто-то из своих, но Савёлов уже не слушал, ему не хотелось кричать, приказывать, уговаривать этих людей. Они бежали вместе и каждый отдельно, остановились вместе, чтобы отдышаться, теперь снова надо бежать. Они уже не солдаты, они могут бросить ещё живого человека, потому что не рационально нести его. Он умрёт. Да, наверняка умрёт. А они не солдаты – в солдатах нет рационализма.

– Идите. Я вас не держу.

Они ещё топтались нерешительно на поляне, и Савёлов вдруг испугался, что кто-то из солдат останется, и будет вынужден нести умирающего, и всё равно не донесёт, и станет ещё хуже – озлобится и на себя, и на Савёлова, и на мертвеца, и на весь мир... Это было мучительное чувство; он прикрыл глаза и ждал, когда же они исчезнут, оставят его тут одного, почти одного. Пусть уходят, пусть катятся ко всем чертям. Они сопели, переминались с ноги на ногу и ушли – он не смотрел вслед, просто слышал, как удаляются глухие шаги. Подбежал молодой пулемётчик и затараторил на ухо испуганно:

– Куда же они? А? А как же этот, ваш, которого подстрелили? Мы его бросаем?

– Иди, я останусь с ним. Вода есть?

– Вот, есть немного. Ещё сухари...

– Не надо.

– А куда ж они? Как же так? Что ж вы, люди... Эх...

– Иди. Спасибо за воду.

– Так что ж, я с ними? Я сухари-то оставляю...

– Не надо. Иди.

– Я оставлю немного.

– Спасибо. Иди. Спасибо тебе, Столетов. Иди, иди, догоняй своих.

И скоро настал вечер, и одеяло, тёмное, беззвёздное, опустилось на вершины деревьев. Грибная сырость, писк жалких каких-то лесных животных, мошकारа, глушь, страх – всё навалилось на плечи Савёлова звуками и запахами, чтобы дать почувствовать полное и безраздельное одиночество, чтобы скулы свело от кислого привкуса под языком.

А Зарубин всё не умирал. Он то лежал тихо, то открывал вдруг совершенно ясные глаза и скулил, скулил, просил облегчения у Савёлова, просил у Бога, просил привести санитаря, просил Богородицу, прощения просил, плакал и снова застывал.

ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.

«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«...Когда я уезжал, то успокаивал тебя, родная, что для командира батареи 152-мм гаубиц война скорее напоминает манёвры – враг невидим, далеко, за много вёрст, ты даже не видишь убитых, только расхаживаешь в начищенных сапогах, командуешь отрывисто и разговариваешь в полевой телефон с наблюдателями... крррасота! Всё оказалось далеко не так безоблачно, как я говорил. Совсем не так, но всё равно никакого сравнения с нынешними событиями...

Это каменный век во всей своей животной красоте. Я тут лишний со своими знаниями, опытом и... В 19-м году, когда большевики мне дали батарею «трёхдюймовок», мы таскались в обозе, спали, ели, догоняли какие-то полуорганизованные отряды, они от нас убегали по полям и лесам, потом гнали нас. Ни окопов, ни линии фронта, ни второго эшелона, никаких правил... А однажды утром меня будит командир эскадрона и говорит: «Жахни по этому хутору, а мы справа зайдём. Как врежем!» Вот и вся тактика. А знаешь, я обрадовался, что нужен, пусть только «жахнут», и жахнул, а они справа зашли, и на телегах пулемёты... Я сам наводил орудия...

...Вчера пришла от тебя долгожданная весточка. Как коротко и как трогательно! Ты ни слова не говоришь о своих трудностях, только театр, театр... Меня очень расстроила новость про смерть Пенчковского, добрый был старик, хоть и странный, словно не из нашего времени. Нелепый, как нарисованный маслом на кирпичной стене портрет царедворца. Грустно, всё уходит в прошлое, люди, привычки, слова... Это не вернётся, нас несёт, калечит, обтёсывает о камни, стружка летит во все стороны, больно, ах, как больно! Только привыкаем мы к боли, чтобы жить, находим уютные уголки с приличным столом и вещевым довольствием. Горох мы, горох, сталкиваемся, разлетаемся по

дощатому полу, чужие и сухие зёрна, а у меня внутри мокнет и жжёт чувство надежды на скорую нашу встречу. Наивное и опасное чувство, надо быть твёрдым и терпеть, терпеть и терпеть, закрыв глаза и выполняя то, что начертано судьбой, как бы эта повинность ни называлась...

Помню, бедный П. играл Чацкого, он уже тогда был стариком, а двигался, двигался как! И голос! Молодой. А ты была прекрасна, я весь спектакль мял в руках букет, терзал его и вынес этот взлохмаченный «веник» на сцену – ты взяла его даже не повернувшись, вся в полёте над зрительным залом, вся в овациях, чужая и желанная, а потом, дома, всё смеялась и целовала меня. Я понимаю, что не повторится наш налаженный мир, лёгкий и дружелюбный. Но надежда предательски пронзает иногда по ночам, я не сплю, сижу над дневником и курю. Ты будешь сердиться, но я нарушил своё обещание не пить водки. Я – немного, клянусь, когда совсем уж не могу...

Есть хорошие новости! Дашенька, в Петроград едет Юлик Ганзиер. Ты же помнишь Юлика? Сын Н.Д., часто приходил к нам, он ещё радио увлекался, потом поступил зачем-то в Институт инженеров путей сообщения. Он сейчас в моём полку связист. Такой же худой и обзавёлся очками. Говорит – зрение плохое, но я подозреваю, что он их носит, потому что это очки его отца. Он всегда был немного сентиментален... Но я отвлекся... Я организовал для тебя посылочку, продукты и немного денег. Юлик взялся её доставить тебе прямо в руки (как я ему завидую!), отбывает он завтра. Честно говоря, не знаю, сколько продлится его путешествие при нынешнем всеобщем беспорядке, надеюсь, не более недели. Передай обратно через него письмо, я тебя умоляю, и пусть оно будет на нескольких листах и со всеми подробностями твоей нынешней жизни – это не опасно, Юлик – честный человек...

...Ночью ужасно... Ганзиер скоро будет в Петрограде, увидит тебя, а я тут сижу один, хочется выть... хоть бы наступление уже!

Водка, водка... даже выпить не с кем! Не с Глуценко же!.. Чёрт...»

ГЛАВА 3

*Ты нужна мне... –
Ну что ещё?
Ты нужна мне –
Это всё, что мне отпущено знать.
Утро не разбудит меня,
Ночь не прикажет мне спать.
И разве я поверю
В то, что это может кончиться
Вместе с сердцем?
Ты нужна мне...*

Борис Гребенщиков

– Зарубииин! Зарубин! Просыпайтесь.

Высокий голос с трудом прокалывал вату сна. Голос приятный, понятный и словно бы из далёкого прошлого, хотя Зарубин точно знал, что не из прошлого, а из самого настоящего сегодняшнего дня. А возможно, даже из будущего, чистого и прекрасного будущего, где нет уже Зарубиных, Савёловых, войн и смертей. Где нет летучих отрядов под чёрными знамёнами с грубо намалёванными черепами, нет громоздких, страшных и уязвимых бронепоездов, нет ничего, связанного с промышленной утилизацией людей.

– Зарубин!

«Здравствуйте, дорогой товарищ врач Екатерина Дмитриевна! Здравствуйте, прозрачное милое лицо на фоне голубоватого потолка!» – Зарубин плавал во влажных от болезненного пота простынях, проваливался, возносился и держался за этот голос.

– Зарубин!

«Мне уже хорошо. Гораздо лучше! Не надо волноваться. Я живой. Я теперь живой. Не хочу умирать. Никогда не хотел... боялся. Да, боялся, что уж скрывать. А теперь во сто крат больше боюсь. Ведь теперь я знаю, зачем мне жить. Слушать ваш голос, товарищ врач. Слушать ваш голос, Екатерина Дмитриевна...»

– Расслабьте руку, Зарубин! Вы невыносимы! И не бормочите, не пытайтесь говорить, несносный! Вам вредно.

«Я расслабил. Мне не больно! Только не уходите, доктор!»

– Сейчас полегчает. Температура скоро спадёт – и полегчает. Лежите, я пришлю сестру.

«Не уходите, прошу вас...»

Голос уплыл в сторону, вдаль, за границы сознания. Замолкающий голос истончился до невозможности и порвался вместе с нитями, связывающими Зарубина с реальностью, и он провалился в сон жаркий и липкий. И пришёл в этом тревожном сне юнкер Саша Савёлов, и вытеснил из горячечной головы орденоснца Мефодия Зарубина. На время вытеснил, до пробуждения.

Отец приехал внезапно. Остановился в лучшей гостинице города, в приличном, хоть и не самом дорогом номере. Это было странно. Это было совсем не похоже на отца – и то, что не предупредил о приезде, и то, что выбрал жильё не по средствам.

Всё в этой встрече было необычно.

Отец, скромный отец, непомерными для него расходами словно хотел скрыть от глаз какую-то не очень приличную тайну. Словно откупиться хотел от неизвестного греха или позора. Сидел за столом в номере напротив Саши и нервно курил, а голос нарочито бодрый, голос скрывает что-то, не врёт, нет, а просто говорит не то и не о том.

– Саша, я хотел бы тебя с твоими друзьями пригласить в ресторан. Вы скоро кончаете курс. Это очень, очень важное событие...

– Ну так кончим – и отпразднуем...

– Боюсь, тогда будет не до этого. Приёмы, официальные мероприятия, губернатор, возможно, сам государь пожалует... А хотелось бы по-домашнему, так сказать – в узком кругу, – отец спешил, явно куда-то спешил.

– Как скажешь, отец. Но мне кажется...

– Ну сделай мне одолжение, порадууй же старика, – искренний и немногословный Савёлов-старший сейчас играл театрально, всё слишком выпукло – и слова, и поза, и это тоже было непривычно.

Саша растерялся от всего этого спектакля и быстро согласился.

– Тогда в субботу? – спросил он, чтобы скорее закончить ставший неуютным разговор.

– Да, сын, в субботу – прекрасно. В субботу просто отлично! Пригласи своих товарищей... Ну, Милича твоего обязательно. Сашу Фёдорова... Ммммм... Кого ещё?

– Костю?

– Ах, да, Костю тоже. Конечно, Костю, как же без него? Из наставников ваших нужно кого-либо?

– Нет, не надо. Это не принято. Это в принципе невозможно. Не надо.

– Как скажешь, сын. Я мало что в этом понимаю. Нет так нет. Кстати, не расскажешь мне об Ольге К.? Если я не ошибаюсь, ты ей симпатизировал...

Нет, нет, конечно, не расскажет. Никому не расскажет. Это хрупко, это больно. Однажды он уже имел неосторожность проговориться отцу о своих чувствах к Ольге – это была минутная слабость, желание хоть с кем-то поделиться сомнениями и надеждами... А теперь – нет, нет. Всё зашло слишком далеко, точнее – в тупик всё зашло: тянулось, тянулось, Саша тянул, сам тянул время, примерялся, взвешивал, откровенно трусил... И надеялся, и боялся даже не отказа, а непонимающего взгляда Ольги. А вдруг он

взаимную симпатию сам себе придумал? Вдруг она просто проявляет стандартную вежливость, принятую в их кругу? Вежливость, за которой ничего, кроме равнодушия, не кроется?

Нет, не расскажет. И больше об этом никогда ни с кем не заговорит.

– Саша, ты меня слышишь?

– Мне пора, отец, прощай, – и бочком, бочком в дверь.

– Саша...

Бежать от вопросов, бежать от себя, слабого. Бродить по вечерним улицам, натыкаясь на праздных прохожих, мычать извинения и бежать дальше – от изменившегося отца, друзей, от Ольги бежать. Да, от неё, любимой, но недоступной. И показалось на мгновение Саше Савёлову, что он зря побежал сейчас от отца и от ответа, что бегать ему теперь всю оставшуюся жизнь...

А потом был милый субботний вечер в хорошем ресторане. И отец был весел и расслаблен, подшучивал над Миличем, Милич, в свою очередь, задирал друзей и Савёлова-старшего, рассказывал вполне приличные еврейские анекдоты, Костя немного перебрал вина, а Саша Фёдоров пытался увезти всю компанию в какое-то сомнительное заведение за городом, но его удержали.

После ужина долго прощались на крыльце ресторана, обнимались и не хотели расходиться. Отец вдруг сделался серьёзным и попросил юнкеров поддерживать друг друга, куда бы ни закинула их судьба после выпуска. Все хором стали клясться в верности на века, Костя при этом даже всплакнул, чем вызвал насмешки острого на язык Милича.

– Нет, я серьёзно, ребята, – отец перестал играть роль, стал сосредоточенным и грустным, – мне кажется, вам предстоят тяжёлые испытания, не дай Бог какие тяжёлые. Я не могу объяснить, откуда я знаю – я не знаю... Чувствую, наверное. Просто считайте, что опыт. Я чувствую, и мне тревожно. Да что там тревожно! Я просто боюсь за вас. И хотел бы, чтобы вы...

Его голос сорвался, он опустил голову и начал суетливо хлопать себя ладонями по карманам – искать папиросы. Папиросы долго не находились, неловкость повисла вязкая, такая неловкость, когда никто не смеет сделать первый шаг, чтобы её нарушить. Но Милич нашёлся, вытащил свои папиросы, дал отцу подкурить, приобнял его и что-то шепнул на ухо. А вслух: «Отпустите нас за город, к цыганам». Савёлов-старший благодарно кивнул, улыбнулся, и напряжение как-то сразу исчезло.

– Конечно, ни к каким цыганам вы не поедете, нечего вам делать у цыган, – отец легонько щёлкнул Милича по носу. – А пойдёте вы в училище, а Сашка меня до гостиницы проводит и вернётся. Ну, прощайте, господа юнкера. Спасибо вам. И тебе, Юра, спасибо.

Старый и молодой Савёловы шли по улицам засыпающего города. Молча шли, хоть и чувствовалась недосказанность, которую вроде и надо было разрешить, но не хотелось нарушать хрупкий покой встречи.

– Слушай, сын. Я кое-что приготовил для тебя. Ты только прими это просто, без обид и сомнений. Ты знаешь, не богат я, не удалось сколотить состояние достойное, чтобы передать тебе...

– Отец...

– Ты слушай, слушай, не перебивай. Мне и так трудно всё это говорить. Так вот... Может, было во мне мало авантюризма, не шёл я на рискованные шаги, вот и не поймал возможную удачу за хвост... Хе-хе... Но и поэтому не имею долгов... Всё, что есть, я хочу передать тебе немедленно...

– Да отчего ты так спешишь?

– Ты, прошу, сделай, как я говорю, не спрашивай. Как мама твоя умерла, оборвалось во мне что-то. Нет мне вкуса жить, только ты вот меня держишь здесь... Не перебивай, я же просил... Ради тебя и держусь, но долго ли? Ты уже взрослый, у тебя начинается совершенно другая жизнь. В ней для меня вряд ли будет много места. Я не жалею, нет. Ты не думай так, что я жалею. Я говорю об этом как об обычном жизненном обстоятельстве... И ещё, я не хочу, чтобы ты был связан прошлым, чтобы тебя что-то тяготило, – отец вроде как заискивающе посмотрел на Сашу, но тот промолчал. – И... И я хочу, чтобы ты начал жизнь свободно.

– Я всё равно не понимаю, отец, к чему ты клонишь...

– Я тебе сейчас всё покажу, – сказал отец, открывая ключом тугой замок гостиничного номера, – сейчас, сейчас... чёрт, заело...

Он выложил на стол пять сотенных бумажек, три жёлтеньких кружочка николаевских червонцев и массивные золотые часы на глупой толстой цепочке.

– Не волнуйся, я не пропаду, мне ещё половина оклада полагаётся после отставки. Уж не буду бедствовать, – и засмеялся натянуто.

– Отец, ты вроде как прощаешься со мной?

– Да, что ты, что ты! – засуетился отец, захлопотал вдруг, заглянул зачем-то в тумбочку при кровати, – что ты! Я просто, чтоб ничего не забыть. Так сказать – уладить лучшим образом. Ты уже человек взрослый, у тебя расходы могут появиться...

– Отец!

– И не говори ничего! Не расстраивай меня! Готовься к выпуску, я хочу тебя видеть красивого и молодого в офицерском уже мундире...

Саша Савёлов ушёл с тревогой в сердце, что-то ему мешало поверить в искренность отца. Или необычные его поступки, или некоторая суетливость в словах и жестах. Во внутреннем кармане

лежало его наследство, жили своей жизнью часы-луковица, светлое ночное небо грустило и сомневалось вместе с Сашей, а мосты стояли мёртвые, разведённые.

А через месяц пришло известие, что отец застрелился. Нелепо, неожиданно для окружающих... Были предчувствия, были, но чтобы так, бесповоротно и жестоко, – невозможно принять и смириться. Вот и разъяснилась отцовская спешка и суетливые извиняющиеся глаза. Теперь один, теперь сам; и вернуться некуда – нет дома, нет гнезда, да и не к кому теперь. Мир равнодушно, словно отчим, распахнул навстречу Саше свои объятия и задушил его. Так надолго Саша и остался придушенным и тихим, только часы нежно тикали, надёжные и безучастные, тикали на тумбочке возле кровати, в кармане тикали и отзывались хрустальной обрывающейся мелодией на открытие крышки...

Сидеть на бревне и курить. Не думать, не злиться, не терзать себя больше, никуда не спешить. Не бояться, больше уже не бояться. Курить, вдыхать плотный яд папиросного дыма, впитывать бледной кожей лица солнечные лучи. Щуриться на проходящих раненых бойцов и сестёр милосердия в белом. Из жизни выпали последние две недели, сгорели в топке болезни, испарились от жара. Пыль и страх последних лет исчезли вместе с этими днями, словно и не было их. А были ли? Где теперь всё, что так тревожило? Где солдаты и пули, где кавалерия и гаубицы, бронетранспортёры, серая пехота и закопчённые броненосцы? Может быть, уже наступил мир, железо безопасно ржавеет на полях, а сквозь мёртвых прорастают молоденькие деревца? Ничего не осталось, только задний двор госпиталя, солнце и родной человек, который вышел на крыльцо и укоризненно смотрит на курящего Зарубина.

– Опять?!

Зарубин сделал последнюю затяжку и демонстративно затушил папиросу о бревно. И улыбнулся родному человеку. Екатерина Дмитриевна покачала головой нарочито строго и скрылась за дверью.

Она, конечно же, ничего не знает. Не знает, как Зарубин мысленно называет её – родной и даже любимой. Да и как бы она узнала? Не говорит ей об этом Зарубин, как не говорил когда-то о своих чувствах милой дочери графа К. Жалеть бы об этом, не свершившемся тогда, скорбеть об умершем, не родившемся взаимном чувстве... Оплакивать убитую мародёрами хрустальную Олю, дочь графа К., которую так и не согрели, возможно, нужные ей слова тогда ещё юнкера Сашеньки Савёлова, а ныне красного командира Мефодия Зарубина. И показалось вдруг Зарубину, что вся его жизнь – лишь череда не состоявшихся событий, не сложившегося счастья, не совершённых подвигов, не рождённых детей и не сказанных слов. Как же пусто без всего этого, пусто и бессмысленно. За всю жизнь только и воспоминаний – бесконечное

томление, вызывающее слабость в теле, и бегство, обессиливающее ещё больше. И вот теперь Екатерина Дмитриевна... Но и ей не сказаны нужные слова, не сказаны. Да ещё, как говорит Милич, есть какой-то кавалерист, комдив, кажется. К чёрту кавалериста, к чёрту комдива. К чёрту томления.

Она, как любая женщина, догадывается. Наверняка догадывается, не может не догадываться. Женщины чувствуют малейшие изменения в отношении к себе, легко расшифровывают нюансы поведения влюблённого мужчины – все эти смущённые взгляды, сбивчивые слова и желание попадаться на глаза как можно чаще.

Конечно, конечно же, она всё поняла. Зарубин злился на себя и на весь мир за то, что он влюбился в «дохторшу», как её за глаза называют бывшие крестьяне, а ныне раненые красноармейцы. Все в неё влюблены. Так повелось на войне – тяжело раненные, легко раненные, контуженные, ампутанты, выздоравливающие и умирающие – все они влюблены в сестёр милосердия и женщин-врачей. И ухаживают все как могут. Кто-то пытается подкинуть букетики полевых цветов, собранных за оградой госпиталя, кто-то смущённо суёт в узкую ладонь любимой самое ценное, что у него есть – старую плитку шоколада «Абрикосовъ и сыновья»... Или пишет стихи. Или умилённо показывает затёртые фотокарточки своих родителей, довоенные карточки, бережно завернутые в нечистые и обветшалые тряпицы. Некоторые обещают жениться и увезти на родину после войны. Другие, жарко шепча в ухо солдатские грубые нежности, тянут за рукав, хватают за талию...

Ничего подобного Зарубин не делал. Он только непроизвольно и несколько смущённо улыбался при встрече, опускал голову, а наедине с самим собой – фантазировал. Иногда жарко и стыдливо, иногда спокойно и рассудительно. И много – о будущем. Раньше такого не было – размышлений о будущем. Всё внимание, вся работа мозга и стремления души были сконцентрированы лишь на одном – желании выжить. Любой ценой. Отвернуть от себя опасность неизбежной и близкой смерти – в бою или в случае раскрытия истории с подменой документов и убийством эсэра. Теперь всё поменялось с головокружительной скоростью. Этот большой мальчик на дороге вмиг разрушил уже почти созревший план побега в Крым. Теперь окончательно и бесповоротно Зарубин враг и белым, и красным. Бежать больше некуда, можно не метаться. Остаётся просто жить, пока дают жить, и наслаждаться каждой минутой солнечного дня. Или пасмурного дня – всё равно. Любить. Пусть безответно, но любить. И ещё этот мальчик, оставшийся совсем один, живущий временно у бабки Мотри... Этот мальчик, несчастное животное, без ненависти и любви к окружающим, но страдающий не менее других от холода, голода и физической боли. Его нельзя полюбить, этого мальчика. Его не любили даже соб-

ственные родители. Но щемило тоскливо у Зарубина сердце; что-то невероятно несправедливое было в отношении мира к этому существу, невинному по причине своего бессилия и безумства.

На крыльце в очередной раз появилась Екатерина Дмитриевна, отошла в тень развешанных на верёвках простыней и закурила, разговорившись с каким-то забинтованным бородачом.

И Зарубин решился.

Он бодрым, насколько позволяла больная нога, шагом подошёл к Екатерине Дмитриевне.

– Можно вас на разговор?

Забинтованный бородач деликатно отступил куда-то в дебри сохнувшего больничного белья.

– Да, конечно. Только у меня операция через десять минут...

– Я быстро, – непонятно кого успокоил Зарубин – или себя, или её, – у меня вопрос относительно мальчика...

– Какого мальчика? – брови сомкнулись на переносице, а глаза непонимающе хлестнули по Зарубину.

– Ну, мальчик... Этот, больной. Который остался после... после... – Зарубин не мог подобрать слово, – заговорщиков.

– Ааааа, этот мальчик. Конечно. Я его осмотрела... Действительно болен. Но вынуждена вас расстроить – его мы не сможем вылечить. Ему нужен постоянный уход, хорошее питание, человеческие условия... Но вылечить – нет, мы не в силах.

– Как же быть? – вдруг растерялся Зарубин. – Может, я чем-то смогу?..

– Да что вы сможете? – Екатерина Дмитриевна закурила новую папиросу из мятой пачки, – что вы сможете? Возьмёте на воспитание? А как? Война же. С вами неизвестно что может случиться, да и на фронте детям не место, тем более – таким беспомощным...

– Да вот...

– Вы не беспокойтесь так, Зарубин. Я понимаю, вы чувствуете вину перед мальчиком, – при этих словах Зарубин внутренне содрогнулся. – Но... вы бессильны. Мальчика надо отдать в коммуну или детский приют. Ну, или на воспитание кому-нибудь. Хотя кто ж его возьмёт такого... Может, разве... Есть тут в селе, вёрст сорок отсюда, говорят, батюшка один, сирот собирает у себя дома. Может, он?

– Может, может, – обрадовался Зарубин, – я бы мог его отвезти. И продуктами обеспечить хоть на первое время.

– Знаете, – неожиданно улыбнулась Екатерина Дмитриевна, – а вы, кажется, хороший человек, Зарубин. Переживаете... Другой бы плюнул и не вспоминал. Кстати, как вас зовут?

– Ал... ммм... Мефодий.

– Мефодий? – смех рассыпался по утопанной траве госпитального двора. – Мефодий? Хммм... Простите... Просто... Простите, мне по-

казалось, вам не идёт это имя – Мефодий. Словно чужое платье надели. Ну сами посудите – какой из вас Мефодий? Вы минимум Виктор – победитель. У вас такой мужественный вид, хотя хромаете и вообще смущаетесь. Да, Виктор вам подходит. В худшем случае – Александр. Как Македонский.

Зарубин стоял окаменевший. Что-то в этой женщине открывалось новое, первобытное, дающее ей возможность заглядывать дальше, чем видят глаза, дальше, чем позволяют любые книжные знания, туда, где совершались древние ритуалы, где боги жили в деревьях, камнях, огне и воде. Откуда, откуда она... догадалась? Или знала, или просто ей напелтал тёплый ветер с Азова?

– Ой, простите, Мефодий. Я правда не хотела вас обидеть, – она взяла его за руку, – ведь вы не обижаетесь? Ну, скажите мне честно, не обижаетесь?

– Я... я... не обижаюсь, – сердце не остановилась, земля не ушла из-под ног, мир словно замер в предвкушении невероятного, – конечно, не обижаюсь. Я... Я вас люблю.

– Давай, поезжай, конечно. Поезжай, – согласился Милич, – да и проветришься заодно. На тебя ж страшно смотреть, как с креста сняли.

– Я мигом, туда и обратно, – уговаривал Зарубин, словно бы не слышал согласия, – я быстро.

– Да поезжай, чёрт тебя дери! Ты меня слышишь вообще?

– Да я за сутки управлюсь. Так я еду?

– Оглох ты совсем? Говорю – езжай. Где мысли твои носит? Стойка, стой... А не влюбился ли ты случаем? – Милич наклонил голову, словно хитрая ворона, рассматривающая блестящий предмет в траве, – а? В кого? Признавайся.

– Да отстань ты. Какая любовь может быть...

– Ой, врунишка. Милича не проведёшь. Говори уже.

– Не о чем говорить. Совсем не о чем.

– Хорошо, не хочешь говорить – не надо, – тут же согласился Милич. – Тогда давай выпьем.

– Нууу...

– Давай, давай, – настаивал Милич, – ты же знаешь, не отстану. Мне одному пить нет никакой возможности – сопьюсь. И не пить тоже нет сил. Поэтому тебе сегодня отдуваться. Садись.

– Наливай, – обречённо согласился Зарубин, скидывая шинель на диван и усаживаясь за стол.

– Ну, давай быстро, по первой.

Первая пошла лихо. За ней следом вторая. Третья. И вот уже растёгнуты воротники гимнастёрок, а головы взмыленные почти соприкасаются над столом – секреты нужно говорить сильным шёпотом прямо в красное ухо товарища.

– Я тебе не об этом, – настаивал Зарубин, – как же ты не поймёшь, чёрт?! Это серьёзно...

– Конечно, серьёзно, разве я не понимаю? – Милич кивал головой согласно, – но и ты пойми – идёт война... Да что война, бес с ней, с войной, я просто переживаю, что ты опять будешь ходить вокруг да около...

– Не начинай...

– А я и не начинаю. Будь решительнее. Женщины любят решительных...

– Она другая, – насупился Зарубин.

– Конечно, другая. Все женщины разные. Только ты вот, как телок, будешь ходить да мычать... Пока не засохнешь совсем... Наливай.

– Я схожу к ней.

– Правильно! Я об этом и говорю. Решительней.

– Пойду к ней, – мужественно заявил Зарубин, но с места не поднялся.

– Молодец! Наливай.

– Пойду к ней.

– Мне кажется, ты стал последнее время повторяться. Видно, сильно тебя тогда по голове...

– Пойду...

– Конечно. Наливай, – кивал Милич.

– Понимаешь, она настоящая...

– Понимаю. Ты только не заводись.

– Прямо сейчас...

– Тогда больше не пей. Мне налей, а сам не пей, хватит тебе. Развезёт.

– Меня уже развезло, – признался Зарубин, – но я пойду.

– Ты иди, я сам допью.

– Иду.

– Да иди ты, чёрт!

– Иду.

– Ну вот и иди. Только не хамя.

– Я не хам.

– Я знаю. Просто напоминаю.

– Я не хам. Я пойду.

– Иди. Удачи.

Деревенская улочка была залита лунным молоком. Молоко это стекало с крыш и заборов, стояло лужами на горбатой дороге. Зарубин старался выглядеть трезвым, но чем больше старался, тем казался пьянее. К флигелю возле госпиталя, где жила Екатерина Дмитриевна, он подошёл уже совершенно развинченной походкой. «Не хамя», – вспомнил он слова Милича и осторожно постучал в дверь.

– Екатерина Дмитриевна...

– Кто? – послышалось из-за двери.

– Екатерина Дмитриевна, это я, Зарубин. Мефодий.

– О Боже, что случилось? – в дверном проёме показалась Екатерина Дмитриевна в пальто поверх белой ночной рубахи, – вам нездоровится?

– Нет, я не по вопросу здоровья, – ответил Зарубин, щурясь от света керосиновой лампы в руках доктора.

– Что же случилось?

– Я... я... по другому вопросу.

– Постойте, Мефодий, вы, кажется, пьяны.

– Я по другому вопросу, Екатерина Дмитриевна. Войти позволите?

– Нет, не позволю, – решительно отрезала доктор, – и даже не потому, что вы пьяны. А потому, что я знаю, по какому вы вопросу. Приходите трезвым и в дневное время – обсудим этот ваш вопрос.

– Так, значит...

– Ничего это не значит. Вы очень симпатичный, Мефодий. Но я не позволю вам приходить ко мне пьяным, когда вам заблагорассудится.

– Так я...

– Вы сейчас пойдёте домой, выспитесь, а потом мы с вами поговорим, хорошо? – мягко, но настойчиво произнесла Екатерина Дмитриевна.

– Да, – покорно кивнул Зарубин.

– Ну вот и хорошо. А теперь – марш, марш спать!

– Спокойной ночи, Екатерина Дмитриевна. Простите меня.

– Можно просто – Екатерина. Спокойной ночи. Только позвольте один вопрос, Мефодий.

– Да, – обрадовался приунывший было Зарубин, – конечно.

– А вы почему без цветов решили навестить даму? – Екатерина Дмитриевна рассмеялась и захлопнула дверь.

ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.

«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«...Хотел поставить в начале новой записи дату. Мне понравилось – “март, 1920 г.”. Почему март? Может, потому, что я не помню, какой сейчас месяц. Мне всё равно, а “март” звучит обнадеживающе, начало весны... Позвал Глущенко, чтобы узнать дату, а он, дурак, привычно принёс бутылку. Я промолчал и снова стал пить. На часах 10.35. До полудня ещё полтора часа, а я в стельку. Я, Дашенька, тряпка и сволочь. Недостоин тебя, и гореть мне в аду, если он существует... Самое страшное, что я перестал удивляться. Вчера открывается дверь и заходит ... кто бы ты подумала? Не догадаешься! Сашка Савёлов, собственной персоной, шлем будёновский с померанцевой звездой, нашивки, всё как положено всякими указами «реввоенсоветовреспублики»,

– А тебе повезло? – усмехнулся Зарубин, невольно втягиваясь в разговор.

– Мне? Мне повезло! – обрадовался посыльный. – Папиросы есть? Ага, спасибо. Повезло, конечно. Вот кем бы я был, если б не революция? Кем? Ну скажи, кем?

– Если бы хорошо учился – юристом бы стал.

– Юристом... – скривился Терехов. – Адвокатишкой по мелочным делам, вот кем бы я стал. Жалованье мизерное, дела – яйца выеденного не стоят, мешочники, мелкие жулики, семейные разводы... И так всю жизнь. Скучота. А теперь...

– А что теперь? – Зарубин посмотрел на молодое, розовое и вдохновлённое лицо Терехова.

– Я творю историю! Нет, не смейся. Мы все творим историю. Мир изменится до неузнаваемости. Он не будет больше скучным, пыльным и несправедливым. Не надо будет больше сидеть в душных конторах над бумагами...

– Постой, – перебил монолог Зарубин, – что значит «не надо будет сидеть в конторах»? Все будут носиться по степям с шашками? Никто не будет работать? Не надо будет каждое утро идти на службу, на нудную опостылевшую службу? Всё будет весело и беззаботно?

– Да, да! Всё начнёт меняться с головокружительной скоростью. Как только мы победим, начнётся возрождение, труд, который можно сравнить с творчеством. Каждый человек – творец...

– Я думал, Творец один, – пробормотал Зарубин.

– Что? Не перебивай. Люди-творцы, понимаешь? Новая цивилизация творцов. Свободных, смелых и... красивых, если хочешь.

– А куда денутся некрасивые, интересно?

– Ну, постепенно все станут красивыми. Ведь свобода и творчество раскрывают всё лучшее, что есть в человеке. Они его преображают, – Терехов снисходительно улыбнулся. – Не понимаешь, да?

– Да почему ж не понимаю, понимаю. Целый мир красивых людей. Даже страшно становится.

– Скучный ты человек, Зарубин. И откуда в тебе столько пессимизма?

– Жизнь научила.

– Жизнь нас учит верить в лучшее, – назидательно произнёс посыльный.

– Да иди ты к чёрту, – Зарубин вдруг разозлился, главным образом на себя, за то, что втянулся в этот разговор, – будешь ещё мне тут наставления читать, студент.

Терехов что-то раздражённо буркнул и хлестнул лошадь, заставляя её рвануть вперёд. Ветер тотчас же снёс поднятую копытами пыль в сторону и расстелил её по земле.

Так они и ехали – Терехов чуть впереди, изображая обиду, Зарубин на телеге, иногда оборачиваясь на спящего Серёжу.

Долго обижаться, конечно, Терехов не умел. Через четверть часа он опять ехал рядом.

– Остались ещё папиросы?

– Конечно, – Зарубину тоже не хотелось дорогу превращать в томительную и длинную склоку, – бери сразу несколько. Кури, студент.

– Пожалуйста, не называй меня студентом.

– Хорошо, хорошо. Не буду. А ты не обижайся, Терехов. На обиженных воду возят.

Дорога пошла между небольшими ставками с тёмной водой и некогда обработанными наделами земли, которые окружали чёрные свечки тополей, – вдали угадывалось село.

– Скоро будем на месте, – то ли вопросительно, то ли утвердительно произнёс Терехов.

– Да...

– А этот так и не просыпался... Наелся и размяк, – кивнул Терехов в сторону спящего мальчика. – Видимо, голодал. Хотя и при живых-то родителях. Расстреливать таких родителей надо...

«Их и расстреляли, – содрогнувшись, подумал Зарубин, вдруг опять ощутив всю полноту своей вины за случившееся с этим несчастным созданием и с его семьёй. Ощутил физически – как тошноту, слабость рук и внезапный озноб. – Господи, это всегда теперь будет со мной, всегда».

– Подобные люди – из прошлой жизни, порождение мира несправедливости и угнетения, – продолжал Терехов, неаккуратно хлебнув из фляги, проливая воду на подбородок и шинель и закуривая очередную зарубинскую папиросу, – мы с ними разберёмся. Со всеми разберёмся.

– Разберутся они... Не пойму я тебя... Ты вроде и не должен быть таким... ммм... жестоким. Ну жил себе и жил, зачем тебе всё это? Зачем война? Как ты здесь, что ты ищешь?

– Я новый мир ищу, – почти весело произнёс Терехов, приподнимаясь в седле, – чистый, справедливый мир. А тех, кто стоит у нас на пути...

«Расстреляем», – мысленно добавил Зарубин, а вслух:

– Ты отвратителен, Терехов, отвратителен тем, что взял винтовку не для того, чтобы защищать высокие идеалы, о которых мне тут рассказываешь. Я понял тебя – ты лжец. Врёшь же ты, студент, всем врешь! Ты от скуки решил убивать людей. Жил же, жил как человек. Сытый, молодой, здоровый, студент университета... Тебе просто... стало скучно. Скучно! Скучно доучиваться, ходить на работу... Скучно даже за барышнями волочиться! Тебе не интересно, ты всё попробовал. Ты захотел новых приключений. Такие, как ты, и есть главные виновники произошедшего, всего этого ада, всего, всего – смертей, пожаров, голода, банд... Не солдаты, уставшие от войны, не рабочие, которые хотели повышения жалованья, нет. Зажравшиеся студентики,

ожиревшие поэты, ленивые помещики, сытые, сытые развалили всё. Скучающие извращенцы. Вы готовы уничтожить всё и вся, лишь бы не скучно. Лишь бы ежедневно не исполнять свой долг. Кретины. Когда эта мясорубка закончится – вас загонят в стойло. Вас заставят ходить по кругу, как ослов, крутить колесо мельницы до скончания вашей ничтожной жизни. И когда ты будешь ходить по кругу, вспомни мои слова. И вспомни себя и свои слова о свободном и светлом будущем. Ты хотел избавиться от оков? Ты получишь ещё более тяжёлые оковы. Пошёл вон, видеть тебя не хочу.

Терехов несколько секунд молча смотрел на Зарубина с открытым ртом, а потом в его глазах блеснуло что-то новое и незнакомое, даже не злое, а брезгливое, словно бы смотрел Терехов не на человека, а на раздувшийся под солнцем труп лошади.

– Вот как ты заговорил, Зарубин... Ясно... Ясно с тобой всё.

И в этот момент Зарубин понял, что сдаст его бывший студент, сдаст как миленького. Не за контрреволюционные разговоры сдаст, а за обидные слова и обвинения во лжи. Это не политика, это личное. Сдаст его Терехов, находя в этом новые непривычные и сладостные ощущения, новое приключение и даже – подвиг.

«Тааак... Убить студента, мальчика – к священнику, быстро за Катей, на лодку и в Крым», – молнией промелькнул горячечный план.

А потом:

«Нет, нет, хватит убивать и бежать. Хватит. Край, конец...»

И снова:

«Стрелять, бежать, Катя, Крым».

«Нет!»

«Сейчас, пока нет свидетелей...»

«Во что ты превратился, Зарубин?!!»

«Бежать...»

– Эй, слушай, студент! – закричал Зарубин вслед Терехову, – я вот что подумал... Ты того, не стесняйся на меня донос написать. Вы же новое поколение, вам фискалить не возбраняется? Так ты того, не стесняйся, студент! Ради будущего. Светлого, конечно, будущего! Или уже сам стреляй, если духа хватит.

Терехов обернулся, и на лице его мелькнула презрительная улыбка.

– Не буду я стрелять в тебя, Зарубин, не буду. Я ещё никого не убил, ни одного врага. Я жалею об этом, но не так я убью, не так. В бою – да, но не так, и не в расстрельной команде. Эх, Зарубин, какой же ты... Мелкий, что ли? Не буду я на тебя доносить. Не буду я тебя сдавать. Ты сам себя сдашь. Ты не выдержишь. Слабый ты, Зарубин...

И полыхали в голове Зарубина два вопроса:

«Правда, не сдаст?»

«Мелкий, трусливый, жалкий... Это теперь про меня?»

Небо вдруг стало тяжёлым и упало на плечи. С этим студентом

надо решать. Это противно, но решать придётся. Как только с Катей? Что сказать, как объяснить? Как всё это объяснить – обман, сплошной обман... Втянул в свою дикую историю единственного любимого человека, сволочь, просто сволочь...

А со студентом Тереховым надо решать. Не обойдётся, не пронесёт...

– Зарубин? А зовут-то тебя как?

– Мефодий, – слегка запнувшись, ответил Зарубин.

– Мефодий? – батюшка, сдобный и белый, в чёрной запылённой и засаленной рясе мягко улыбнулся в роскошную бороду. – Что тебя привело, сын мой Мефодий, в наши края?

Зарубин вдруг растерялся, начал вспоминать, как в детской прошлой жизни мама водила его в церковь, как он подходил к огромному ростом, как тогда казалось, величественному попу, как складывал перед собой ладошки (не забыть – правая поверх левой!) и склонял голову для благословения. И сейчас, повинувшись какому-то почти утраченному рефлексу, он так и сделал, как учила мать, и согнулся неловко перед пышной батюшкой, поймал его полную, некогда ухоженную руку с нечищенными кольцами и перстнями на нечистых пальцах, угадал на своей макушке нарисованный крест, ткнул губами в одно из колец... И захотелось ему так стоять, не разгибаясь, долго, так долго, пока бы не кончилась война и не ушёл бы страх, вечный животный страх беглеца...

Вчера, не доехав до места, заночевали в убогой крестьянской избе. Терехов молчал, уже не обиженный, а зло брезгливый, однако помог накормить и уложить Серёжу на еле тёплую печь и вышел покурить на двор.

«Сейчас», – подумал Зарубин и оглянулся на немолодую глуховатую хозяйку, которая прибирала со стола. Нащупал в кармане наган и шагнул за дверь.

«Будь что будет. Начну разговор, уведу в степь за деревню, а там...»

Терехов курил, оперевшись на чёрную дровяную кладку.

– Слушай, Терехов, – начал вымученно Зарубин.

Тот не оборачивался, громко выдыхая белые в лунном свете клубы папиросного дыма.

– Терехов! – в голосе зазвучала тоска, – ты хоть поговори со мной.

– Я же сказал – не выдам тебя, – всё так же, не оборачиваясь, ответил студент.

«Врёт?» – рука нырнула в карман и нервно погладила сталь нагана.

– Я не вру, – сказал Терехов, словно бы услышав внутренний вопрос Зарубина, – что мне тебе врать? Ты человек конченный. Мне не жаль тебя, но и подлости я делать не буду.

«Врёт! Зубы заговаривает...»

– Ладно, – вроде бы как смирился Зарубин, – я тебе верю. Но хотел тебе всё разъяснить. Чтобы ты понял, не думал, что я враг, а просто так обстоятельства сложились... Пойдём, прогуляемся, разговор длинный...

– Куда прогуляемся, зачем? – вдруг испуганно спросил Терехов, оборачиваясь. – Ты что задумал?

«Всё, конец. Придётся здесь... Господи, как всё неправильно...»

Вынырнул из кармана наган.

– Да ты что ж, сволочь, делаешь? – опешил Терехов, выпучил глаза и шагнул в сторону, – ты ж... Да мать твою...

И в этот момент Зарубин понял, что не сможет убить этого человека. Бесконечную цепочку предательств всех и вся, себя в том числе, унижительную ложь и стыдливое бегство, убийства – её надо разорвать когда-нибудь, эту цепочку. Невозможно всё время бояться. Как же жизнь превратилась в череду нелепостей и преступлений? Когда, в какой момент перестал существовать артиллеристский офицер Савёлов и появился живой мертвец Мефодий Зарубин? И этот злой мертвец втягивал в свою смертельную карусель окружающих, калечил их судьбы, вольно и невольно обрывал их жизнь. Он должен прекратить это безумие, мертвец должен умереть. Мёртвые – к мёртвым, безвременно ушедший Сашка Савёлов. Мёртвые к мёртвым, *дорогой мой мертвец Зарубин*.

– Прости, прости меня, Терехов, – ноги Зарубина ослабели, он сунул ствол нагана себе в рот. Мир в мгновение стал неподъёмным: шинель неподъёмная, ремень давит невыносимо, тело налилось свинцом, даже воздух стал плотным и с трудом проникает в лёгкие... и ноги, ноги ватные...

– Стой, Зарубин, стой, дура!

Зарубин скорчился на земле, давя большим пальцем на тугой спусковой крючок нагана, произведённого Тульским, Императора Петра Великого, оружейным заводом в чёртовом 1917 году. Ещё не стрелянный наган, скользкий, красиво-чёрный и тугой.

Выстрел громыхнул возле левого уха, наполнив голову всеобъемлющим вселенским звоном. Терехов выкручивал зарубинскую руку, сжимающую наган, давил всем телом содрогающегося в истерических конвульсиях неудачливого самоубийцу.

– А ну, а ну отдай, сука... – приговаривал Терехов.

– Убей меня, прошу, убей...

– А ну, истеричка, отдай!

– Убей меня, Терехов... Не надо, не мешай. Щенок, не мешай...

– Сволочь, а кто твоим пацаном будет заниматься? Я? Всё, успокойся, тряпка! – Терехов вырвал наконец наган из цепких пальцев и закинул его куда-то в глубь двора. – А ну открой глаза, смотри. Смотри на меня!

– Терехов... Терехов...

– Ладно, плачь, плачь... Но я с тебя не слезу, пока не успокоишься. Тоже придумал – стреляться!

На крыльцо вышла хозяйка и с ужасом смотрела на борющихся на земле.

– Иди в хату! – строго крикнул ей Терехов. – Иди, я говорю! Быстро! Вот уж глухая тетеря... Иди в хату, говорю!

А потом Терехов, уже под утро, сидел в хате над обессиленным, выплакавшимся и тихим Зарубиным и говорил много и успокаивающе.

– Ты, Зарубин, прости меня. Не конченный ты человек, не конченный, это я зря. Никто не конченный. У всех есть время исправить, даже самое жуткое исправить. Нет времени только у тех, кто умер. Вот этим уже всё... Не изменить. А так время есть. У тебя есть, у меня есть...

Хозяйка лежала в углу на широкой лавке и напряжённо пыталась услышать разговор, даже голову приподнимала тревожно.

– ... У всех есть. А ты хотел одним росчерком всё похоронить, все надежды. Глупо же, признайся, глупо! Ты, Зарубин, просто на язык злой и растерявшийся. Но это понятно – многие растерялись, не уловили момент исторический. Это же глыба, что творится. Сдвиги тектонические, тут уж кто хочешь растеряется. И страшно, да, страшно. Всем страшно, но верить надо. Вот у меня история была, не поверишь...

Но Зарубин уже не услышал, что за поучительная история произошла с Тереховым, – уснул хрустальным сном, сном человека, которому уже нечего больше терять.

Зарубин разогнулся, и ему вдруг показалось, что всё это и вообще всю свою жизнь рассказал он батюшке. И даже не испугался, а вроде как легче стало на душе. Но нет, не рассказал, конечно...

А рассказал о том, что привёз инвалида Серёжу, которого надо, чтоб батюшка приютил у себя в большом просторном доме, где уже галдит, ползает и хулиганит дюжина некогда завшивленных и ободранных, а теперь чистеньких и вполне сытых ребят.

– Эх, он совсем болен, да? – вздохнул печально отец Андрей. – Конечно, конечно... Куда ж его... Жива бы была матушка, оно, конечно, полегче тогда, полегче... Но справимся. Куда ж его... Показывай своего Сергия.

– Я тут продукты привёз, – торопливо добавил Зарубин. – Крупу, немного тушёнки, сало... Вещи детишкам. Даже спирта чуть в госпитале выпросил. Спирт всегда нужен... Ах-да, сухофрукты ещё, хорошие...

– Спаси тебя Бог, – рассеянно сказал Зарубину. И внимательно, с улыбкой, Серёже: – Ну что, теперь тут будешь жить, птенец. Тут у нас целый птичник. Здравствуй, Сергей.

Серёжа сидел в телеге и по своей обычной привычке раскачивался из стороны в сторону. Но теперь он не вызывал совсем уж щемяще-

го чувства – был он чист, в чистой же белой рубаше до пят, подстрижен и даже слегка откормлен усилиями женщин госпиталя. Терехов стоял рядом, но с батюшкой не поздоровался, он вроде считал себя атеистом, но ещё не до конца определился в своих чувствах к священнослужителям. Он переминался с ноги на ногу и старался не смотреть на отца Андрея.

– Терехов, помоги мешки занести, – Зарубин взял на руки Серёжу, – а я пацана.

Вошли в поповский дом, плотно забитый детскими голосами. Зарубин остановился в дверном проёме, не решаясь ступить на чистый выскобленный пол пыльными сапогами.

– Проходи, посади мальчика, там коврик вязаный, – подбодрил Зарубина батюшка, – да проходи у же.

Одни малыши ползали по полу, другие сидели за длинным столом – рассматривали книжные сказочные картинки, рисовали на желтоватых листах, ковырялись в носках, болтали ногами, самый старший парень возился возле печи, на узкой панцирной кровати кто-то спал, укрывшись лоскутным одеялом. При появлении Зарубина с Серёжей на руках все одновременно затихли и уставились на гостей. Даже из-под одеяла показалась стриженная «под ноль» голова с удивлённо-печальными старческими глазами на бледном остреньком лице – девочка, лет семи.

– Здравствуйте, товарищи красноармейцы, – сказал бойкий карапуз и начал копать в мешках, которые поставил у входа Терехов. Остальные окружили Серёжу, поглядывая на сопящего возле подарков карапуза. Батюшка отогнал того от мешков и скомандовал старшему мальчику накрывать на стол. Все оживились, забыли про Серёжу и гостей – и начали предобеденную суету, впрочем, только на первый взгляд неорганизованную. Каждое движение было подчинено какому-то внутреннему заведённому распорядку: одни несли ложки, другие убрали сказочные книжки и карандаши со стола и стелили на него белую домотканую скатерть. Громыхали передвигаемые тяжёлого дерева табуреты. Старший мальчик, которого батюшка называл Фёдором, снял крышку с большого чугунка, и по хате потёк плотный мясной аромат. Все, кроме Серёжи и лежащей на лавке девочки, участвовали в подготовке к обеду. Обед был важным объединяющим событием в поповском доме, как и в каждом добропорядочном доме. Зарубин вспомнил, как организовывала обеды мама, как щепетильно соблюдала целый свод семейных правил и традиций... и как это в один день рухнуло после её смерти, и больше не могло быть реставрировано, никакими усилиями не могло. Всё держится в доме на одном-единственном человеке, остальные просто подчиняются его воле и его любви.

Когда стол был накрыт, девочка встала с лавки и заняла своё место за столом.

– После тифа, слабая, – пояснил отец Андрей.

После молитвы, в которой участвовали не все дети, принялись за еду.

– Да что ж это я, – спохватился батюшка, который усадил к себе на колени Серёжу, не умеющего держаться самостоятельно на лавке. – Фёдор, принеси для гостей, там в... Сам знаешь...

Фёдор не спеша принёс бутылку водки и две коньячных рюмки, поставил перед Зарубиным.

– Выпейте, казённая, – предложил хозяин.

Зарубин с Тереховым выпили по три рюмки, закусывая обжигающей кашей, в которой плавали жирные куски мяса. Батюшка сам кашу не ел и от водки отказался. Отрезал узким ножом кусок хлеба и задумчиво жевал его, запивая узваром. Что-то усталое появилось в его светлых глазах, скрытое от посторонних в обыденной суете, но проявляющееся, видимо, помимо его воли, в редкие минуты отдыха.

«А ведь он не стар совсем, – подумал Зарубин, – борода эта сби-вает с толку».

После обеда Терехов задремал за столом, прислонившись спиной к стене, а батюшка с Зарубиным вышли на двор.

– Ты кури, не стесняйся, – предложил отец Андрей, – ты какой-то сжатый, словно скрываешь страшное внутри.

– Не знаю даже что и сказать, – закашлялся Зарубин, – всё запуталось. Я чуть человека не убил... А было и убил...

– Прости Господи. Грех это страшный, но – война. Прощения проси у Господа, простит он, если искренне будешь...

– Да и не только в этом беда. Я себя потерял. Не пойму, что творится – свои, чужие, Врангель, Троцкий... Ещё Махно, казаки... Не разберёшь. Мечусь. От одного берега к другому. И не верю во всё это, никому не верю... Так, спасаюсь от смерти, а толком не прильнул ни к одним. Вроде получаюсь везде чужой. Везде враг... Что делать? Сердце рвётся.

– Хм... Я должен бы сказать тебе о смирении. Но я скажу другое. Надо выбирать, на чьей ты стороне. Без этого – ты не сможешь быть человеком. Белые, красные... Красные тоже люди, они верят в своих богов. Еретики ли они, грешники? Безусловно. Но их сердца наполнены, а не пусты. Они умирают за свою правду, и в этом суть этой войны – каждый умирает за правду. И только оставшиеся в стороне умирают просто так. Тебе придётся выбирать. И я не подскажу – какой выбор правильный. Только ты сам можешь это решить: что Зло, что Добро. Для этого тебе и дана Господом свобода выбора. И ты должен этой свободой, этим даром Божьим, воспользоваться.

– Так что мне делать, отец Андрей? – с тоской спросил Зарубин, закуривая очередную папиросу.

– Молись, проси у Бога ответы на свои вопросы. Не проси ничего, кроме ясности ума и веры. Не проси материального, это всегда было

неправильно, а сейчас просто бессмысленно. Все физические лишения мы должны пройти до конца.

– А разве вы не должны мне сказать, что дьявол пришёл на нашу землю – и мы должны бороться с ним?

– Ты про большевиков? – улыбнулся отец Андрей, одними глазами улыбнулся, и снова Зарубин отметил, что тот молод. – Дьявол пришёл гораздо раньше большевиков, гораздо раньше. Он пришёл, когда начали высмеивать попов, когда крестьяне перестали освящать себя крестным знаменем, когда образованные люди усомнились и свои сомнения начали нести в качестве новой веры необразованным, когда нигилизм стал религией... Вот тогда это произошло. А большевики... Да что большевики... Это уже плоды, а не корни. Да и не все большевики так уж плохи. Есть очень приличные люди, добросердечные даже. Их просто не видно на фоне толпы безумцев. Но безумие рано или поздно пройдёт...

– Как же мы виноваты! – вырвалось у Зарубина. – Как же мы все виноваты... Как потом нашему народу надо будет отмаливать всё это? Целыми поколениями...

– Не говорите глупости, молодой человек, – вдруг рассердился отец Андрей. – Каждый отвечает за себя и за свои мысли и поступки. Суд на земле и на небесах – очень схожи. Наказание или помилование получает каждый отдельно, а не все вместе скопом. За содеянное лично тобой спрашивает судья. И наказание получаешь ты лично. Или милость. Спасай свою душу. Ты не Спаситель, чтобы спасти всех, спасай себя. Мысли о всеобщем грехе ответственности отвлекают тебя от мыслей о собственной душе. Вот уж эти старушечьи сказки про то, что русские предали Помазанника и теперь прокляты. О своих грехах думай, о своих!

– Отец Анд...

– Я говорю – оберегай свою душу. И найди уже место себе в жизни. Прислонись к кому-нибудь, согрейся. Нельзя одному человеку, без людей, без тепла...

На крыльцо вышел немного помятый и заспанный Терехов, направляя свою жёсткую заломленную шинель.

– Что-то меня разморило... Едем, что ли, Зарубин?

– Езжайте, конечно, Бог в помощь. А за мальчика не беспокойтесь, всё будет с ним хорошо. Меня тут никто не тронет, местные ко мне хорошо относятся, богоборцев днём с огнём не сыщешь. Провинция. Не дошли до нас новые веяния, и кто знает – дойдут ли...

Зарубин с Тереховым уже отъехали далеко, скрылись из виду, а отец Андрей всё стоял возле калитки, тяжело опираясь на почерневшие доски забора, потом посмотрел на тревожное лиловое закатное небо и вернулся в дом.

После жирного обеда и выпитой водки Зарубина стало клонить в сон. Пыльная однообразная дорога укачивала, убаюкивала, шептала

что-то сквозь глухой стук копыт, голову безвольно клонило набок: или сон, или явь – не разберёшь, где сегодняшней день, а где уже давно умершее на полях этой безумной войны...

– Поспи, Зарубин, – предложил Терехов, – ты поспи, я бу-бу-бууу... отдохнуть... бу-ббу-ууу... надёргался... бубубу...

– Хорошо, – согласился Зарубин, – хорошо, пересаживайся. А лошадь свою сзади к телеге привяжи. Потом я тебя сменю. Разбудишь.

В соломе он сразу пригрелся и через несколько минут провалился в густой, как обеденная поповская каша, сон.

Зря Зарубин связался с этим гусаром. Нервный гусар, злой, полный ненависти к окружающему миру. Усы сбрил, гражданское худое пальто натянул, брючишки узенькие, а сразу видно – офицер. Не спрячешь гусара в чёрном пальто и в полосатых брюках, особенно если из него яд течёт и пренебрежение. Да ещё осанка эта кавалерийская и ноги колесом.

Документов у него не было никаких, кроме купленной на базаре медицинской справки, что следует он на лечение в Кисловодск. Липа, а не справка. В каждой букве фальшь.

– К Колчаку надо, к Колчаку, – всё время повторял гусар, – он быстро всё это разрешит. Лучших собрал. Сотни тысяч.

С гусаром они вместе скрывались на глухом и безопасном мало-российском хуторе, пока там не стало тревожно. Сначала появились какие-то подозрительные и оборванные – от большевиков, большевиков сменили не менее подозрительные с салными мордами – самостийники, немцев ждать не стали – хоть и ходили слухи, что они против большевиков, а офицеров не трогают.

– Они не трогают, видите ли! – возмущался гусар, громко шпя. – Я их трогаю, сволочь, вот же сволочь! Уходить надо. Колчак...

Звали гусара Пётр Красов, он обожал Колчака и ненавидел большевиков, а ещё больше – эсэров, чьё влияние на селян было довольно сильным. В отличие от Зарубина гусар был уверен, что «всё это ненадолго».

– Пойми, это обычные босяки, только с оружием, – горячо шептал он. Он всегда шептал, но так, что было слышно за стеной каждое его слово. – Офицеры унижены и растеряны, но Колчак... Будет реванш, всех этих босяков – под лавки. Воздей их – в расход. Без жалости и сантиментов. Сочувствующих – в лагерь. Мы их научим Родину любить...

Зарубин не спорил, хотя и не верил уже в счастливый исход ни для страны, ни для себя лично. Долгое мучительное бегство, жизнь на нелегальном положении и унижения страхом привели его в крайне странное состояние – он готов был пойти на службу к кому угодно, лишь бы хоть какой порядок и определённость. Лишь бы не бегать

больше и не скрывать. Но гусару он об этих своих чувствах не говорил.

– Пойми, глупый ты человек, – пучил глаза Красов, – нас там ждут. А тут мы с каждым днём опускаемся и, кроме того, подвергаем себя опасности. В конечном итоге нас могут шлёпнуть по ошибке, случайно, походя. Какие-нибудь бандиты или новые власти... Неважно. Главное – время теряем. Там же... там же события! История творится!!! Колчак...

Но бежать дальше пришлось, как обычно, не по плану, а из-за обстоятельств. Пришли эти обстоятельства однажды ночью в хутор в виде летучего отряда под бархатными малиновыми знамёнами, пошитыми, видимо, из штор какого-нибудь барского дома. И не уйти бы Зарубину с Красовым от бандитов, но это были обычные бандиты, бывшие крестьяне, а не военные. Именно поэтому не окружили они хутор, а просто зашли тёмной толпой с севера и начали грабить, начиная с крайнего дома. Последнее, что запомнил Зарубин – апатично сидящие за столом хозяева дома, в котором они жили с гусаром последнее время. Хозяева сидели с прямыми деревянными спинами и даже не предпринимали попыток спрятать нехитрое своё добро или укрыться в лесу неподалёку. В сгустившихся сумерках визжали свиньи, надрывались растревоженные куры, слышалась ругань, разнообразные шумы, сопровождавшие погром, где-то высадили стекло... «Грабят, сволочи. Ну хоть не стреляют», – подумал Зарубин, выбегая тяжёлым шагом на опушку леса, и тут же услышал два выстрела в стороне хутора... Красов обернулся на выстрелы, поморщился, сплюнул зло и зашипел привычно что-то ругательное.

И опять бегство, ночные переходы и дневная спячка в лесах и стогах, осторожные попытки добыть еду в крестьянских домах, если повезёт – мелкое воровство с полей и из сараев. Они давно не брились и очень сильно поизносились. Левый Зарубинский ботинок расквасился совсем, и подошва была подвязана толстой бельевой верёвкой, что доставляло жуткое неудобство при ходьбе.

Красов был зол и упорен, его рассказы про скорую победу над большевиками и прочими бандитами становились всё более красочными, а Зарубин совсем приуныл и еле волочил ноги.

«Почему я бегу? – думал Зарубин. – Ведь есть же у меня документы настоящие, хоть и покойника документы, но настоящие. Для большевиков я чист, если только не произойдёт случайность. Но если вдруг откроется – стенка обеспечена. Нет, надо к Колчаку, прав Красов». Так он себя убеждал, успокаивался на некоторое время, а потом снова – как накатит: «Зачем бегу, зачем?»

– А знаешь, мы так больше не сможем скитаться, – глаза Красова нездорово сверкали на землистом лице, – надо на поезд. Правда, непонятно, где кто сейчас. Через Советы ехать категорически не

возможно. Может, через Харьков? Там сейчас гетман, немцы, чёрт бы их побрал... Там можно справить документы какие-нибудь. И к Колчаку пробиваться.

– А что Харьков? Что в Харькове?

– Всё ж город большой, возможности, да и есть у меня там товарищ один. Поэт, бездельник, но со связями. Символист или как там, не разбираюсь я. Кружок у них поэтический организовался, по кабацким подвалам стихи друг другу читают, баб щупают, вино лакают, – Красов мечтательно закатил глаза, – богема, сволочи. Опшум. На этой сволочной поэтической платформе он со всем городом и перезнакомился. Наверняка есть кто-то из нынешних властей. Состряпает бумаженции нужные...

– Ну, Харьков так Харьков, – согласился Зарубин. – Хоть отоспимся на чистом, отмоемся, да и одежду надо привести в порядок, а то совсем бродяги.

Харьков, здравствуй, Харьков.

Харьков почти столица. Брусчатка старорежимная, дома в центре монументальные и скучные, храмы сияют куполами, базары шумные и многолюдные, хулиганистые, жульнические и грязные базары. Почти уютно в этой почти столице.

В харьковской квартире поэта Теодора Отверженного, а в миру – Евгения Гривастова тоже уютно и старорежимно. Тепло, солнечно, даже сытно в квартире автора странных стихов:

Ах ты мне заневодь мои души.
Каждой душе – в уши шепчи,
Как ты любишь ржавых своих бронекосек?
Бронесобаки, вон пошли!

Гадают богатые и не очень дамы в дыму поэтических подвалов, что это за бронекоски такие и сколько у человека душ. А поэт их уводит всё дальше и дальше, хитёр поэт, в дебри уводит дам, обволакивает, морочит им головы, а те морочатся с удовольствием, сладко падают в бездну непонятных колдовских слов.

А на площадях митинги. Иногда кажется – бессмысленные митинги, манифесты множатся на плохой бумаге, зачитываются до дыр. Вроде вокруг война, а на улицах толпы праздных людей. Работают рестораны, бордели, базары кипят воровской суматохой. Зарубину не хотелось к людям. Толпы пугали, гомон вызывал приступы мигрени, и только ночью в темноте поэтических развратных подвалов ему было уютно и безопасно.

В подвалах читали. В подвалах кривлялись друг перед другом. В подвалах появлялись богатые стервы в сопровождении старых фабрикантов или молодых зализанных жиголов, не стесняясь сво-

их спутников, рассматривали окружающих мужчин. Они были доступны и развращены, эти женщины. Они искали и находили голодных поэтов, они ласкали их и быстро забывали ради новых.

Удачливый поэт Теодор Отверженный изобрёл новый вид искусства, который обозвал музыкально-механическим декламированием. Под заунывную музыку он речитативом читал свои стихи про смерть, могилы и вампиров.

«Дочь вампира у костра совершает свой обряд...» – рокотал Отверженный под вой скрипки, и дамы томно закатывали глаза. Это они, они были дочерьми древних вампирских фамилий из Валахии и Трансильвании. Это они несли смерть и ужас. Выпитая кровь возвышала над обыденностью и людьми – над торговками творогом, над грязными пролетариями, над войной и разрухой. «...Это суций Ад!» – рубил Отверженный, и скрипка срывалась на какойто неимоверно высокой ноте. Это был настоящий, реальный ад.

Зарубин пьяным засыпал с какой-то незнакомой дамой, просыпался под утро, жадно пил вино, засыпал, брёл сомнамбулой в поэтический клуб, пил там и засыпал с новой дамой. Дамы. Брюнетки и блондинки. Они менялись. Их имён невозможно было запомнить. Иногда в пьяном бреду Зарубин начинал клясть себя и молодую графиню К. за не случившееся когда-то в их жизни. Доставалось в этих проклятиях и Теодору Отверженному, и Красову за то, что вечно пьяный Зарубин вынужден жить в свинстве и разврате. Но тревожный короткий сон уносил обиды в прошлое, и опять – дым, вино и поклонницы.

Поначалу Зарубин писал стихи, ради гонораров и чтобы сблизиться с местной поэтической богемой. Но потом перестал – денег стихи не приносили, а для знакомства с кем угодно было достаточно рекомендаций Теодора.

Красов постоянно где-то пропадал. Возвращался он под утро с загадочными горящими глазами, морщился на предложение выпить и запирался у себя в комнате. Зарубин точно знал – тот связался с подпольем. Что это было за подполье, неизвестно, но связался наверняка. Красов просто не способен был сидеть тихо, ему нужны были действия. Любые действия, пусть даже безумные или опасные. Такой уж он был неугомонный, гусар Красов.

А потом Красов пропал. Теодор наводил справки несколько дней, пока не выяснил, что тот расстрелян. Выяснить достоверно, за что именно расстреляли Красова, не удалось даже Теодору с его связями. Скорее всего, он действительно замыслил какой-то теракт, на него это было похоже. В день известия о гибели мятежного гусара Зарубин напился особенно жестоко, до беспомыслия.

«Мы все умрём, умрём, а черви...» – в Зарубинской голове бесконечно крутились строчки из музыкально-механической композиции Теодора Отверженного, – «Полюбят нас, ведь мы свои...»

Эх, Красов, Красов. Ну что ж ты, беспокойный, куда тебя понесло? Мы, конечно, все умрём, но как хотелось бы ещё пожить...

– Я еду в Петроград, – заявил Зарубин Теодору на следующее утро.

– Это самоубийство. Там красные, – резонно возразил Теодор.

– Мне всё равно. Я не могу больше так. Пойду на службу... А с этими гетьманами, гайдамаками, немчурой... Это какое-то б... Я не могу так, в дыму. Это всё не Россия... Она где-то потерялась, наша страна. Я её попробую найти. Может быть, она у красных. Но здесь её точно нет. Точно...

Мы все умрём, умрём, а черви

Полюбят нас, ведь мы свои...

ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.

«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«...Я понял, родная, я понял. Сегодня голова очистилась от тумана ранним утром, я проснулся ещё до рассвета – и понял. Мы никогда больше не увидимся. Нам никогда не сидеть за чашкой чая в нашей гостиной, не поговорить более о твоей театральной жизни... Тебе даже не прочитать этот мой дневник. Всё, конец нашей истории. И дело не в тебе или во мне, дело не в наших желаниях. Мы просто никто в этой всеобщей мясорубке, мы куски мяса, которые затягивает в воронку навстречу ножам. Нас перемелют. Нас перемелют, и всё тут. Мы можем пытаться стать на плечи своим товарищам, чтобы оттянуть момент смерти, толкаться, суетиться, но всё тщетно...

Я лежал в тёмной прокуренной комнатухе, и тело моё немело от ужаса понимания этой неизбежности...

С этого дня я не буду скрывать неблагоприятные факты своей жизни от дневника (читай – от тебя). Я буду писать то, о чём я думаю. И теми словами, которые приходят на ум. Какая теперь разница? Мне нечего больше стесняться тебя далёкую, тебя прежнюю. Эти слова в пустоту. Они не обидят и не зацепят тебя, ты их попросту не прочитаешь. Их никто не читает. Этот дневник – мой маленький грех Онана, одинокого и обречённого на одиночество...

Я лежал в душном тепле деревенских перин и пытался нащупать в своей прежней жизни что-то живое, что помогло бы мне перетерпеть это утро. Какое-нибудь хоть пустяшное воспоминание из довоенной жизни.

И вспомнилась мне история из наших юнкерских времён.

Если ты помнишь, Дашенька (я по-прежнему буду обращаться к тебе, так легче), Савёлов всегда был стеснительным и

честным. Не таким бесшабашным, как все мы, его друзья. Мы знали, что Савёлов тайно влюблён в одну из дочерей графа К., буквально сох по ней. Они виделись на училищных балах, куда приезжали все девушки из местных благородных семейств. Но дальше формального знакомства, естественно, дело не шло. К тому же Савёлов очень стеснялся бедности своего отца, человека безусловно благородного, но без средств.

Савёлов прямо весь чернел день ото дня, иссушаемый этим своим чувством. И однажды, уже перед самым выпуском из училища, мы с товарищами, подпив, решили его развеселить. Сидели мы в каком-то трактире, переодевшись в цивильное, и Савёлов был мрачнее тучи. К тому же не так давно умер его отец, не оставив ему никакого наследства. Правда, и долгов не оставил, честный был человек.

И тут Александр Ф. предложил нам всем пойти в бордель, «развяться», и подал нам сигнал, чтобы мы подтолкнули Савёлова на это приключение.

Мы Савёлова долго уговаривали, буквально тянули за руки. Наша настойчивость и кураж завели-таки нас в одно известное в городе заведение, естественно, с «французским» антуражем и «французской» же хозяйкой. Хозяйка всем посетителям обязательно рассказывала «историю своей жизни», про украденную казаками в Отечественную войну из Парижа собственную бабушку, которая, естественно, была не менее чем баронесса, а потом скиталась по дикой и холодной России в поисках пропитания, уже беременная её мамой. Ох уж мне эти истории куртизанок... Дюма плакал бы от восторга!

Так вот, у Савёлова хронически не было денег, и мы всей компанией скинулись ему на веселье. Он бледнел, отнекивался, порывался уйти, но в итоге уступил нашей настойчивости и указал на тщедушное белокурое существо с нездоровым румянцем на щеках, которое достаточно бодро увлекло его наверх, в комнаты.

Мы продолжали пить внизу, в «каминном зале», веселились, слушали любительское пение девиц и задирали хозяйку, задавая ей провокационные вопросы о её французском происхождении.

Через некоторое время кто-то из нас решил, что прошло уже достаточно много времени и нам пора менять дислокацию. А Савёлов всё не спускался. Тогда я и ещё два самых пьяных и отчаянных решили его навестить наверху. Мы достаточно грубо вломились в комнату, совершенно не стесняясь той картины, которую могли застать. Но увидели мы абсолютно не то, что ожидали.

Савёлов, совершенно одетый, сидел у окна и... плакал. Де-

вица полулежала на кровати тоже одетая и, видимо, что-то ему рассказывала.

Дальнейшие события до сих пор во мне вызывают брезгливость к собственному поведению.

– Ты уже стал мужчиной? – спросил я. – Поехали дальше кутить.

– Прекрати, – Савёлов вздрогнул и попытался тайком вытереть слезы. – Выйдите немедленно.

– Пойдём, хватит тут бездельничать! – кто-то из наших, приобняв Савёлова, стал тянуть его из комнаты.

Савёлов вырвался, и на щеках его запыхал яростный румянец.

– Немедленно! – каким-то неживым голосом сказал он, но мы его не слушали.

Мы его выгаликивали из комнаты и хохотали, а кто-то (кажется, это был всё тот же Александр Ф.) вдруг произнёс: «Да он же к ней не прикасался! Они так и беседовали всё это время! За что мы платили?!» После этих слов Савёлов хлётко ударил его по лицу, выгреб из карманов всё, что у него было, кинул на кровать рядом с девицей, прошептал ей «прости» и выбежал. Больше мы его в тот вечер не видели...

Потом один из наших друзей прояснил немного ситуацию со слезами Савёлова и его яростным поведением. Эта белокурая проститутка рассказывала всем клиентам одну и ту же историю о том, что её муж, владелец приличного имения, попал на каторгу из-за чиновничьей несправедливости. Его засудили, имущество всё забрали, а ей пришлось голодать и побираться, пока она не оказалась в этом заведении. И ещё она всегда добавляла, что это её первый клиент и ей очень страшно.

Кстати. Савёлов подарил ей единственную ценную вещь, оставшуюся от отца: золотые часы на золотой же цепочке. Всё наследство бедного и честного человека. Мы пытались вернуть их, но Савёлов, прознав об этом, предупредил, что застрелит каждого, кто хоть один шаг сделает в этом направлении.

И знаешь, что я думаю? Он не шутил...

... Истории проституток слезливы и однотипны. Я думаю, что подобные рассказывали и сто лет назад, будут рассказывать и через сто лет после нас. И всегда найдутся такие, как Савёлов...

Да что я говорю, совсем испаскудился! Наивность не порок. Порок это когда ты, узнав весь этот подлейший мир, смирился со всеми этими подлостями, взираешь на мерзости с полуулыбкой и пониманием...

Господи, это невыносимо...»

ГЛАВА 5

*И где бы ты ни был,
Чтоб ты ни делал,
Между Землёй и Небом – Война!*
В. Цой

– Зарубин, прекрати! – с притворным гневом произнесла Катя и смахнула зарубинскую ладонь с пирога. – подожди ты, сейчас ужинать будем.

В самые нежные моменты она звала его Зарубин. А он её – Катя. Теперь было так; у них появилась общая тайна и маленький герметичный мир их быта. Хотя какая там тайна! Наверное, всё село, весь без исключения полк, включая распоследнего конюха, знали об их отношениях. И не Милич был в этом виноват, просто скрыть всё это было немыслимо. Попробуйте оставить свою любовь в тайне, так она всё равно найдёт лазейки, просочится в мир, станет достоянием всех окружающих. Нет, любовь не любит позировать под восхищёнными взглядами посторонних людей, она одинаково равнодушна и к зависти, и к любому другому проявлению внешнего внимания. Она эгоистка. И поэтому не таится – ей просто не от кого скрываться, раз в мире существуют только два человека.

– Ну когда уже, Катя? – нетерпеливо спросил Зарубин, – ну сил же нет. Целый день на ногах.

– Потерпишь.

– Давай помогу?

– Сама управлюсь.

На крашеном белым столе уже стояли пирог и тарелка с крупно нарезанными розовыми помидорами. Глиняный кувшин с терпким херсонским вином потел, вытащенный из погреба. Ароматный мясной запах тянулся из приоткрытых дверей флигеля.

– Катя!

Во дворе уютная вечерняя полутьма, которую не портит жёлтый конус света от керосиновой лампы, привязанной к балке навеса.

– Катя!

В этом бы мире жить и жить, законсервировать его для себя, спрятать в тайное прохладное место, чтобы не нашли чужие и не испортился он от времени. Мотыльки бились о стекло лампы, а где-то на другом конце деревни томно замычала дойная корова.

– Да что ж такое делается? Я сейчас в голодный обморок упаду.

– Не упадёшь, налей пока вина.

И пока текло вино в красивые барские бокалы, неизвестно откуда здесь взявшиеся, Зарубин вспомнил недавний разговор с Миличем.

«Мне так хочется, чтобы скорее мир», – сказал тогда Зарубин, мечтая о спокойной жизни с Катей гденибудь в провинции. А Милич, внезапно разозлившись, словно услышал несусветную глупость, зая-

вил: «Мира не будет, Сашка. Не будет привычных аннексий и контрибуций, нет. Не будет высоких договаривающихся сторон в мраморных залах. Всё будет решаться расстрельными командами, в подвалах контрразведки или ЧК. Война идёт не между разными странами и народами. Война даже не между отдельными людьми, дорогой мой Сашка. Идёт война самого с собой за то, каким тебе дальше быть. Если в человеке борется праведник и злодей, кто-то из них должен умереть. Кто-то внутри тебя должен умереть, друг мой. Внутри нас мало места для всего этого чёртова многообразия. Слушай меня, слушай. Это война не за территории или полезные ископаемые. Это война за человека. За человека будущего – и в этом её бескомпромиссность и жестокость. Мира не будет до тех пор, пока один из врагов не будет уничтожен. И будет новый человек. Но после нас. На наших костях он будет расти... Этот новый человек будет расти на наших проклятых костях... Ты понимаешь это, Сашка? Мы просто удобрение для новых поколений. Нам ещё долго будет отрыгиваться эта война... Эх, Сашка...»

– Мы просто удобрение для новых поколений, – в задумчивости повторил Зарубин слова Милича.

– Что ты там бурчишь себе под нос? – поинтересовалась Катя, ставя на стол казанок с тушёным мясом и картошкой. – готов ужин.

– А, что? Нет, я просто размышляю. Отлично, ужин...

– Ты вина налил?

– Да, конечно, – Зарубин попытался стряхнуть с себя груз неприятных мыслей и даже головой мотнул. – Давай, Катя, выпьем за что-нибудь хорошее...

– За что же именно? – улыбнулась Катя.

– Например, за тебя.

– А я хорошая?

– Ты знаешь, что хорошая. Как я раньше жил без тебя? Я бы рассказал тебе...

– Так расскажи.

– Нет, Катя, это слишком грустно. А ещё более – мерзко.

– Не страшно. Я хочу всё про тебя знать.

– Катя, а может, в Крым уедем? – вдруг с тоской произнёс Зарубин. – бросим всё к чертям, уедем и будем жить где-нибудь у Чёрного моря. Уедем немедленно...

– В Крым? Немедленно? – удивилась Катя. – Ну и как ты себе это представляешь? Там же Врангель.

– Врангель, Врангель... Вечно то Врангель, то ещё что-то...

– Не пойму я тебя, Зарубин. Можешь яснее?

– Я не Зарубин, милая. И уж тем более – не Мефодий...

– Таааак, – протянула заинтересованно Катя, – чего-то в этом роде я и ожидала. Ну, Зарубин, рассказывай. Теперь уж не отвертеться...

– А я и не верчусь уже...

Потом они говорили, пили вино, и Катя плакала. Зарубин ожидал, что она его обвинит в обмане, но она не обвиняла, да и плакала от жалости к корявой судьбе Савёлова больше, чем от досады.

– Так ты у нас Саша? Александр... – улыбнулась вдруг Катя. – Чувствовала же я, видит Бог – чувствовала!

– И что делать теперь?

– А что делать? Жить будем. По возможности – счастливо.

– Так я же...

– А вот об этом не думай, – строго произнесла Катя, – с этими вопросами разберёмся. Милич, говоришь, знает?

– Да, Милич знает...

– Разберёмся. А про Крым забудь. Нам в Крым только с Красной Армией можно. А там посмотрим. Всё уладится.

– Катя, Катя, ты...

– Не надо меня благодарить за любовь. Это не услуга. Ты понимаешь меня?

– Понимаю, любимая...

Ночь, лёгкая ночь легла на приазовье. Лёгкая оттого, что карты открыты и нет больше надобности что-то недоговаривать, скрывать, темнить и строить секретные планы. Можно просто жить – пить вино, дышать степным воздухом, служить и любить свою женщину.

– Я знал, что мне когда-нибудь в жизни повезёт, – шептал Зарубин.

– Спи уже, везунчик, – улыбалась в темноте Катя.

– Повезёт...

...

– Зарубин! Тревога! – голос посыльного Терехова ворвался в мирный сон, и громыхнула где-то за пределами сознания гроза.

Потом ещё один раскат грома, ещё...

– Зарубин! Тревога! Белые!

Какие могут быть белые? Рядом тёплая Катя, а за окном просто освежающая гроза.

– Зарубин!

Терехов колотил ногой в дверь, Катя металась по комнате, а Зарубин всё не мог понять, что происходит.

– Учения? – спросил он с надеждой.

– Нет, не учения, – Катя строгая и собранная, готовая ко всему. – Белые наступают.

– Чччёрт! Сейчас, Терехов, сейчас, бегу. Хватит стучать.

– Белые!

– Да знаю, что белые, чёрт! Прекрати орать.

– Я в госпиталь, – Катя поцеловала Зарубина крепко в губы, – береги себя.

Во дворе штаба жертвенно полыхал сарай и перевязывали раненых. Закопчённый Милич метался от пулемёта к пулемёту и крыл матом всех и вся.

– На батарею! – коротко кинул он появившемуся Зарубину.

– Я только с батареей. Батареи больше нет.

– Как нет? Ты ранен?

– Пустяк. Нет батареи, накрыли с мониторов.

– Мониторы, чёрт. Откуда у них мониторы? С Дуная приволокли разве? Какая разница... Сильно ранен?

– Да нет же, говорю – царапина. Надо раненых из госпиталя вытаскивать, не удержимся, – Зарубин содрогнулся, представив, что казачки сделают с ранеными и персоналом, если возьмут их.

– Я послал в госпиталь отделение. Где твои бойцы?

– Вон остатки, – махнул рукой в сторону сидящих у стены штаба красноармейцев, – трое.

– Остальные?

– Да...

– Бежали?

– Нет.

– Хорошо, – тревожно сказал Милич, непонятно к кому обращаясь, – думаю, пора уходить.

– А госпиталь?

– Нет больше госпиталя, – Милич отвёл глаза.

– Там же Катя, – заволновался Зарубин. – Я пошёл туда. Дай бойцов.

– Не надо тебе ходить. Всё кончено.

– Ты не понял, там Катя.

– Это ты не понял. Всё кончено.

– Что ты такое говоришь?! – горящий сарай кувыркнулся в глазах Зарубина, а ноги в секунду ослабли.

– Возьми своих оставшихся, связных и грузите документы штаба в телеги. Туда же пулемёты, – приказал Милич.

– Какие документы?! Там Катя!!! Я иду туда.

– Выполнять приказ! – взвился Милич. – ты никуда не пойдёшь! Там нет никого наших.

– А где же они, где??

– Саша, слушай меня, – голос Милича вдруг стал ласковым и вкрадчивым, – там нет ни одного нашего... живого...

– А Катя, где же Катя?

– Иди, организуй погрузку документов.

– Катя...

– Да, Саша, я сам лично видел.

– Как? – обречённо спросил Зарубин.

– Не спрашивай, Саша, иди грузить документы. Останься хоть ты со мной. Видишь, что творится? Ты мне нужен, соберись. И займись этими чёртовыми, мать твою, документами наконец.

Зарубин почувствовал, что сердце у него холодное, маленькое и влажное. Раньше оно таким не было. «Что с сердцем? – подумал Зарубин. – Что с сердцем? Оно хоть бьётся? Катя сказала, что я везунчик. Что же с сердцем?»

С таким холодным, маленьким и влажным сердцем и отступал Зарубин вместе с Миличем и ещё десятком штабных на трёх подводах. Куда девались остатки полка – неизвестно, лишь только по редким выстрелам в степи было понятно, что выжившие есть и за ними идёт охота. За штабным обозом тоже увязался кавалерийский полуэскадрон. Ближе они не подъезжали, часто спешили и стреляли вдогонку. Раненный тяжело в живот при отходе Милич лежал на одной из подвод, прижимая к груди кожаный гражданский портфель.

– Тут... мои личные... Саша... – шептал он слабо, – ты это...

– Да я понимаю, – успокаивал его Зарубин, – всё сохранию.

Милич вроде как возмущённо стал трясти головой, и на губах у него закипела розовая пена.

– Отходит, – тихо сказал кто-то за спиной Зарубина.

– Саша... дневник...

– Сохраню твой дневник, друг, не переживай так, – бодро сказал Зарубин, – тебе его ещё дописывать.

И закрыл Миличу глаза.

Катя, Катя... Радостно тебя ждать из госпиталя. И радостно спешить к тебе со службы. Утром расставаться не хочется, но расставаться не страшно. Ничего уже плохого в жизни не может произойти – мы, наконец, обрели свою мечту. Мы в своём надёжно защищённом порту, под прикрытием невидимых глазу грозных береговых батарей и лихого пиратского флота.

Нам уже ничего не может помешать, Катя. Я жду тебя нетерпеливо, куря возле забора, жду, когда твой хрупкий силуэт покажется в серой дымке умирающего дня. Я не захожу в твой госпиталь, не хочу мешать твоей работе, не хочу афишировать всё, что есть нежного между нами. Это священно и это не для всеобщего обозрения.

Поэтому я жду.

И предвкушение всего, что будет после твоего прихода, – ужин, долгий вечер вдвоём, – радостно. Это не холостое томление, как было с далёкой уже Ольгой К., нет. Это энергия человека, который только начал жить и хочет жить, и ему вкусно жить, и он, наивный, думает, что всем вокруг нравится такая жизнь. Радуйтесь вместе со мной, люди. Наслаждайтесь, ловите момент!

Ты придёшь, ты всегда приходишь. Ты идёшь, не оглядываясь по сторонам, словно тебе в этом мире всё давно известно и ты всё давно для себя решила. Может, это и так, ты решительная и уве-

ренная. Теперь и я такой, это, оказывается, заразно. Я тебе всё расскажу, Катя. Скрывать нет смысла. Порой мне кажется, что ты и так всё знаешь. И вся моя жизнь, ложь и страдания не будут для тебя неожиданностью.

Здравствуй, Катя, я готов.

– Зарубин, ты почему такой пасмурный?

– Я не пасмурный, ждал тебя очень долго.

– Хоть бы дров наколол...

– Я наколол. Я всё сделал. Но ужин мне хочется готовить вместе с тобой.

– Что-то новое.

– Я и сам новый.

– Ой ли? – улыбка у Кати ироничная, но без издёвки, не может издеваться любящий и любимый человек.

– Да, да. Я такой... Изменившийся.

– Изменившийся Зарубин.

– Именно.

– И в чём же твои изменения, Зарубин?

– Я стал совершенно другим человеком. Буквально другим.

– Ты теперь не Мефодий Зарубин? Кто ты, незнакомец?

– Я тебя познакомлю с этим новым человеком. Чуть позже. А сейчас я голоден и хочу вина.

– Обжора и пьяница.

– Да. А ещё я люблю тебя.

– Я знаю.

– И я знаю.

– Ну и прекрасно. Налей вина, всезнайка, и помоги почистить картошку.

– Что у нас сегодня будет на ужин?

– Что-нибудь необычное и возвышенное. Например, варёная картошка с топлёным маслом и жареная свинина с луком...

– Изумительно. Царский пир.

– Ещё бы! Ты не представляешь, насколько это будет изысканно. Так что ты там говорил про нового человека?

– После. Давай выпьем.

Огонь в печи загудел, разъярённый, и зашипело на чёрной чугуновой сковородке мясо.

– Прекрасное вино, – Катя от наслаждения прикрыла глаза.

– Крымское.

– Крымское? Откуда здесь?

– Привезли рыбаки с полуострова. Война войной, а торговлю никто не запретит. Хоть ты все границы закрой, контрабандисты просочатся.

– Хорошие контрабандисты, привезли такое вино!

– Обещали ещё.

- Пусть vezут, если это не очень опасно.
- Сейчас всё опасно.
- Это верно... Так что ты там про нового человека говорил, За-рубин?
- Знакомься с новым человеком, Катя. Это я.
- И что в тебе нового?
- Во-первых, я больше ничего не боюсь. Во-вторых... Нет, это во-первых – я тебя люблю. А в-третьих... С нами теперь будет всё хорошо. Всё плохое позади.
- Хотелось бы верить...
- Верь, ты верь.
- Верю. Мы никогда не умрём, мы же теперь вместе...

ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.
«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«Дашенька, здравствуй, милая. У меня всё хорошо, кажется хорошо. Я меньше пью, хоть и трудно удержаться... Видимо, я вполне смирился с тем, что выбрал именно этот путь. Я служу не красным, большевикам или жидам, как можно подумать. Даже не угнетённому самодержавием пролетариату я служу. Нет, я служу России. Другой России, не той, к которой мы привыкли. Но такие уж времена, меняется всё, в том числе и наша Отчизна.

Иногда я, однако, думаю, что предал. Предал всех нас. Но потом приходит мысль, что только большевики предлагают хоть какой-то стратегический план развития нашей многострадальной страны. Правильный или нет – покажет время. Но их оппоненты не предлагают ничего. Старый хлам они предлагают. Ведь понятно, что, как раньше уже не будет, реставрация невозможна. Да и не нужна. Система наша изжила себя, и, возможно, через эти потрясения мы выйдем обновлёнными и сильными. Можно было бы уехать за границу, переждать смутные времена, но я не представляю, как бы мы жили на чужбине. Это невозможно для меня и, уверен, для тебя тоже. Мы русские, здесь наше всё. И эти воюющие орды – тоже наши, мы их породили. Красные, белые, махновцы, петлюровцы... Это всё наши дети. И мы должны за это ответить. Мы должны это прекратить.

Что меня подвигло принять решение служить военспецом в РККА, так это явная объективность, неизбежность (и даже необходимость!) революционных изменений. Здание было настолько ветхое, что в нём невозможно было жить. Да, у нас в этом здании был уютный уголок. Да, мы обустроили себе комфортный мирок в пределах нашей милой квартиры. Всё так. И жить бы так счастливо и слепо нам ещё долго. Даже война, при всех её

ужасах и трагичности, не слишком влияла бы на ощущение этой внутренней защищённости... Но переворот... Наши доморощенные либералы и западники взорвали фундамент, безжалостно, словно диверсанты. И всё, что произошло далее, – это последствия переворота. Внутренняя наша братоубийственная война – в том числе. С момента переворота обратного пути уже быть не могло. Не могло... Всё рухнуло. И теперь нам придётся строить новое здание, на новых принципах. Но это уже после войны.

Это уже после войны, после миллионов смертей, моя дорожка Дашенька...»

ГЛАВА 6

*Я угасаю сделай что-то
Мне страшно снова потеряться
Среди стеклянных трафаретов
остывших чувств
И свет в глазах погасит холод
Надену грубые оковы судьбы жестокой
Не в силах ей сопротивляться
Не помня как добиться счастья
пойду сомнамбулой проторённой тропой
Чужих несчастий*

Элла Гонсалес

– Савёлов! – красноармеец заглянул в тёмное нутро сарая. – Выходи, Савёлов, пора.

«Савёлов!»

Господи, я почти забыл своё имя. Я отвык от своей фамилии. Я забыл, кто я есть. Не до памяти было – я всё время бежал, но от этого не убежишь. Выбирая свою собственную жизнь, я потерял всё. Меня забудут, и после меня не останется ничего достойного воплощения в бронзе – ни подвига, ни идеи... Разве в этом состоит смысл человеческого существования – размножаться и любить себя, своих родных? Так поступают и животные. А человек должен быть готов умереть за нечто абстрактное, что не пощупаешь руками, не обменяешь в банке на ассигнации... То, что нельзя съесть или укрыться им в холодную ночь. Где это я вычитал – «смысл жизни в самой жизни»? Чушь. Смысл жизни не в жизни и даже не в смерти. Смысл жизни в том, как ты умрёшь. За что ты умрёшь. Смысл в этих последних секундах, в понимании неизбежности близкого конца. В осознании последних мгновений, когда в это одно последнее мгновение воспринимаешь свою жизнь как единое целое со всеми грехами, подлостями и слабостью... И... И ничего не изменить. Ни-че-го...

И всё твоё искреннее раскаяние, и просьбы дать ещё время, что-

бы исправить и исправиться, – пустое. Ты прожил жизнь, чтобы в последние секунды прочувствовать ужас своих поступков и, не будучи в силах что-либо изменить, – умереть достойно, с надеждой на Божью милость.

Но как же, как же достойно умереть, когда ноги подгибаются? Когда рослым красноармейцам приходится тащить тебя под руки до рва за околицей... Нет. Не надо тащить, не надо. Сам, сам пойдёшь. Уберите руки.

Савёлов шёл на ватных, ослабевших ногах впереди конвоя и не мог сконцентрировать взгляд ни на одном предмете, словно весь мир стал для него уже чужим, призрачным. Словно вычеркнул окружающий мир Савёлова из списка живых и более не старался для него выглядеть реальным.

Сон, словно сон. Бегающие глаза выхватывали отдельные детали уходящей в прошлое действительности – пучок жухлой травы под ногами, почему-то скошенный горизонт, край забора, пыльный тополь...

А сзади – «топ-топ» сапоги расстрельной команды, «топ-топ». Мешают сосредоточиться на чём-то важном. И прилетают шальные мысли: а вдруг отпустят? Тут же холодный пот надежды выступает на лбу мелкой росой, а потом – нет, не отпустят, это конец. И снова топ-топ. Душно...

Чуть больше суток ушло на допросы. Били только один раз, да и то без злобы и энтузиазма. Скорее это был ритуал унижения и устрашения, необходимый, но не слишком любимый здесь. Допрашивал молодой и бледный в чёрной косоворотке с цепкими и безразличными глазами. Лишь иногда в них проскальзывал интерес к происходящему, и тогда он требовал чаю, который пил с удовольствием, похрустывая сахаром и потеей. После чая глаза его вновь остывали, и он возвращался к допросу.

– Фамилия?

– Савёлов, – обманывать было бессмысленно, перед человеком в чёрной косоворотке лежал дневник Милича, в который он время от времени заглядывал, – Савёлов, Александр... Я уже говорил...

– Не надо лишнего, – предупредила косоворотка, – отвечай только то, что спрашиваю. Почему под чужим именем скрывался?

«Чёртов Милич! Зачем он всё в дневник записывал? Зачем? Что там ещё есть? Друг, неужели ты и про этого написал... Погубил ты меня, погубил...» – в голове Савёлова крутилась безумная карусель мыслей, много мыслей, невпророт мыслей, но ни одной, способной спасти.

– Получилось так, отступление, суматоха, документы потерял. А тут оказия, мой наводчик погиб. Решил временно воспользоваться...

– Ясно, дурака валяем-с, господин офицер... Янсонс!

Чёрная косоворотка вышла, а вместо неё появился сухой и высокий латыш Янсонс, который по-немецки методично начал бить.

– Не надо, – просил Савёлов, – я всё скажу. Не надо.

Косоворотка вернулась, и допрос продолжился.

– Итак, вы убили революционного агитатора. Всё верно?

Да, что ж тут неверно, всё верно. Проклятый революционный агитатор. Теперь этот мёртвый агитатор решительно менял судьбу Савёлова, словно бессмертный, протягивая свои руки из далёкой братской могилы и презрительно улыбаясь.

«Всё верно».

«Да, подтверждаю».

«Не состоял».

«Да, состоял».

«Осознаю».

Савёлов не то, чтобы смирился с судьбой, – ему вдруг показалось, что если он не будет упрямиться – его пожалеет этот в косоворотке.

«Да».

«Не имел... Простите, имел отношение».

«Участвовал».

Убийство эсэра теперь дополнилось контрреволюционным разговором, саботажем и террористической деятельностью.

«Да, конечно».

«Знаком».

«Да, такие беседы вели».

«Всё верно».

И срелось дело, сплелось. Хотя и без дела Савёлов понимал, что это конец его истории. И уже сидя в сарае рядом с дезертиром, ожидавшим решения своей судьбы, ему вдруг захотелось всё рассказать случайному человеку, всю свою жизнь рассказать, чтобы у кого-то осталось воспоминание о нём, о настоящем Савёлове. Но дезертир не желал слушать, он испуганно вздрагивал от каждого звука, прислушивался к шагам часового за утлой дверью сарая и много говорил.

– Нет, меня не шлёпнут. Курить есть? А? Нет? Меня за что? Я красноармеец, крестьянский сын. Я весь за революцию. Только слабину дал. Да и не дезертир я. Ну так, отлучился за водочкой в село, да. Да и боёв не было. За водочкой. Курить есть? Жаль... Я ж не беляк какой-то, чтоб меня расстреливать. Разберутся. Что думаешь? Конечно, разберутся. Курить хочется... У тебя нет? А, да... Меня даже не били, сразу сюда. А тебе досталось, как я погляжу. А меня нет, не тронули. Беляк? Офицер? Курить есть? Отпустят, как пить дать – отпустят... Сейчас бойцы нужны, скоро на Крым наступать. А я всегда. Я просто за водочкой. Туда-сюда... Думал, мигом, а вот оно как обернулось...

Нервный монолог дезертира раздражал невероятно. Савёлов прилёг на остатки соломы в углу сарая и укутал разбитую голову шинелью, но даже сквозь войлок проникали колючие слова чужого человека.

Через несколько часов за дезертиром пришёл матрос, втиснутый в лихой бушлат.

– Эй, ты, дезертир... Как тебя? Хохлов Пётр! На выход!

– Что, куда? – засуетился дезертир. – Куда?

– Не вибрируй, – сплюнул в пыль матрос, – собирай манатки, на фронт поедешь, шкура.

Пока дезертир Пётр Хохлов шарил в соломе в поисках забытых вещей, матрос внимательно смотрел на Савёлова.

– Так это ты, офицерик?

Савёлов утвердительно кивнул.

– А ты сиди пока... до утра, – назидательно произнёс матрос, словно Савёлов куда-то собирался идти. – Сиди. Курить будешь?

– Буду, – обрадовался дезертир.

– Не тебе говорю, шкура. Иди, офицерик, возьми табак. Кури...

Был у нас командир на флоте один, крепкий мужчина. Правильный, но на монархии слишком уж убеждённый. С матросами был строгий, но не сволочь. Заботился о братишках. Расстреляли мы его за его упёртость в вопросе царя Николая. Да, а так был правильный мужчина. Крепкий духом. Ну, пошли, Хохлов. Бувай, офицерик. Табак оставь себе.

Матрос резко развернулся на каблуках и вышел, а за ним радостно потрусил дезертир.

И остался Савёлов наедине с табаком, и пожалел, что ушёл от него болтливый назойливый Хохлов, досаждавший своим бесконечным нытьём.

Душно, душно...

– Уберите руки, я сам пойду...

– Ну, иди, конечно.

Савёлов сделал несколько самостоятельных шагов и вдруг почувствовал силы. И даже стало легче дышать, холодная жаба, поселившаяся несколько минут назад в животе, исчезла, а в ногах появилась крепость.

Каждый новый шаг по твёрдой степи впечатывался в гранит новой мыслью или вопросом.

Шаг.

«Почему отец так? Как он мог меня оставить?»

Ещё шаг.

«Ходить по пыли гораздо приятнее, чем по жёсткой траве».

Шаг.

«Душно...»

Шаг.

«Милич, однако, подлец. Но я его люблю, подлеца».

Шаг.

«Где теперь Теодор?»

Шаг.

«Нет у меня Родины, сожрали её».

Ещё, ещё шаг.

«Может, не расстреляют?»

Шаг.

«Чудо! Боже, дай мне одно в жизни чудо!»

Шаг.

«Где же справедливость?!»

И на шаге справедливости Савёлов дошёл до общего расстрельного рва на окраине села.

– Курить будешь? – спросил Янсонс после того, как зачитал невнятно приговор.

– Да, – обрадовался Савёлов, резонно решив, что люди, предложившие покурить, не способны расстрелять себе подобного.

И тут пришла ещё одна, выбитая в граните мысль – без Кати жить на этом свете абсолютно невозможно. И, отбрасывая от себя щелчком окуроч, прежде чем упасть поломанной куклой в ров, он вдруг представил, как они с Катей на яхте под жёсткими рыбачьими парусами идут в благословенный Крым. А справа по борту падает в море оранжевое, словно марокканский апельсин, солнце.

Янсонс посмотрел на него ласковыми глазами и резко опустил вниз поднятую руку.

Апельсиновое солнце вырвалось из стволов расстрельной команды, и мир в мгновение угас.

ИЗ ДНЕВНИКА Ю.К. МИЛИЧА.

«ПИСЬМА К ДАРЬЕ АНДРЕЕВНЕ ШЕЛЕМЕНТЬЕВОЙ-МИЛИЧ»

«Знаешь, Дашенька, у меня плохое предчувствие. Когда-то давно, в 191... году, мы ещё юнкерами были, приехал отец Сашки Савёлова. Как потом оказалось, приехал он перед самой своей смертью. Повёл он нас, друзей Сашкиных, в ресторан, а после попросил нас держаться вместе, не бросать друг друга в беде. Вроде как предвидел он что-то нехорошее. Говорят, люди перед смертью чувствуют приближение всяких катаклизмов и катастроф. И точно – вскоре началась война. Так вот, я тогда поклялся ему, что буду охранять Сашку, чего бы мне это ни стоило. Видишь, вот как всё обернулось? Я клятву держу – укрываю его, не сдаю, несмотря на всю опасность. Я бы и так его не выдал,

верь мне, это просто невозможно – выдать нашего Сашку. Но, кроме всего, я всегда помнил об этой своей клятве, данной его отцу...

Так вот, о предчувствиях. Неуютно мне, страшно и тревожно. Кажется мне, что я вольно или невольно стану для Сашки палачом. Не понимаю, как и почему, не спрашивай. Просто есть такое ощущение, оно не даёт спать по ночам, от этого страшная депрессия...

И ещё, знаешь, мне кажется, что мои письма к тебе, ставшие опорой для моей души в трудное время, скоро закончатся... И вовсе не потому, что мы с тобой встретимся и в них отпадёт надобность... Просто... Нет, не хочу об этом думать.

Прощай, моя единственная любовь Дашенька. Остаюсь навеки твоим. Юрий Милич».

* * *

Симферополь–Евпатория.
2009–2015.

